

ИЭН
МАКБЮЭН

НЕВЫНОСИМАЯ
ЛЮБОВЬ



Интеллектуальный бестселлер

Иэн Макьюэн

Невыносимая любовь

«ЭКСМО»

1997

Макьюэн И.

Невыносимая любовь / И. Макьюэн — «Эксмо»,
1997 — (Интеллектуальный бестселлер)

ISBN 978-5-699-23254-3

Иэн Макьюэн — один из «правлящего триумvirата» современной британской прозы (наряду с Джулианом Барнсом и Мартином Эмисом), лауреат Букеровской премии за роман «Амстердам». «Невыносимая любовь» — это история одержимости, руководство для выживания людей, в уютную жизнь которых вторглась опасная, ирреальная мания. Став свидетелем, а в некотором смысле и соучастником несчастного случая при запуске воздушного шара, герой романа пытается совладать с чужой любовью — безответной, безосновательной и беспредельной. Как удержать под контролем остатки собственного рассудка, если в схватке за твою душу сошлись темные демоны безумия и тяга к недостижимому божеству?

ISBN 978-5-699-23254-3

© Макьюэн И., 1997

© Эксмо, 1997

Содержание

Благодарности	5
1	6
2	14
3	20
4	25
5	29
6	33
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Иэн Макьюэн

Невыносимая любовь

Посвящается Анналине

Благодарности

В первую очередь хотелось бы поблагодарить Рэя Долана, товарища по пешим прогулкам и старого друга, за многолетние плодотворные дискуссии. Также хочу поблагодарить Галена Строусона, Крейга Рейна, Тима Гартона Эша и старшего инспектора Эймона Макэйфи. Неоценимую помощь оказали мне следующие авторы и книги: «О человеческой природе», «Разнообразие жизни» и «Биофилия» Э. О. Уилсона; «Мечты об окончательной теории» Стивена Уайнберга; «Инстинкт языка» Стивена Пинкера; «Ошибка Декарта» Антонио Дамасио; «Моральное животное» Роберта Райта; «Книга о человеке» Уолтера Бодмера и Роберта Макки; «Джон Китс» Роберта Гиттингса; «Уильям Вордсворт. Биография» Стивена Джилла.

1

Вспомнить начало легко. Было солнечно, мы сидели под дубом, укрывшись от сильного порывистого ветра. Я стоял на коленях в траве, держа в руке штопор, Кларисса протягивала мне бутылку – «Дом Гассак» урожая 1987 года. Этот момент – флажок на карте времени: я протянул руку, и, когда холодное горлышко и черная фольга коснулись моей ладони, мы услышали крик. Кричал мужчина.

Мы обернулись к полю и увидели, что случилось несчастье. В следующую секунду я уже мчался туда. Время меж этих моментов исчезло: я не помню, как выронил штопор, или как вскочил на ноги, или как принял решение; не услышал, что Кларисса крикнула мне вдогонку. Какой идиотизм – броситься в эту историю со всеми ее лабиринтами, оставив наше счастье в нежной весенней траве под дубом. Снова раздался крик и – еле уловимый из-за шумящего в кронах ветра – детский плач. Я побежал быстрее. С разных сторон поля еще четверо мужчин бежали туда же.

Я гляжу на нас со стометровой высоты глазами ястреба, что недавно парил над нами, кружил и нырял в бурные воздушные потоки: пятеро мужчин молча бегут к центру большого поля. Я приближаюсь с юго-востока, и ветер подталкивает меня в спину. Слева от меня, метрах в двухстах, бегут бок о бок двое, работники с фермы, чинившие ограду у южного края поля, там, где оно граничит с дорогой. На некотором расстоянии за ними несется Джон Логан, чья машина брошена с распахнутой дверцей или дверцами у кромки поля. Зная то, что я знаю теперь, со странным чувством я представляю напротив себя фигуру Джеда Перри, бегущего против ветра с противоположной стороны от пляжа. Мы с Перри для ястреба – крошечные существа, наши рубашки – ослепительно белые пятна на зеленом фоне, мы, как любовники, несемся навстречу друг другу, не зная, в какие неприятности ввязываемся. До столкновения, которое лишит нас покоя, еще несколько минут, и вся его чудовищность скрыта от нас не только временем, но и колоссом в центре поля; он манит нас с силой, которая непропорционально больше ничтожных человеческих бед.

Что же делала Кларисса? Она говорит, что быстро пошла к центру поля. Не знаю, как ей удалось не бежать. Но к началу происшествия – падению, о котором я собираюсь рассказать, – она почти догнала нас и могла отлично все видеть, не связанная участием, стропами, криками и фатальной нехваткой взаимопонимания.

Произошедшее сформировалось из наблюдений Клариссы и наших с ней бесконечных обсуждений; «укус» – вот подходящее определение случившегося в тот день на поле, ожидающем летнего покоса. Укус, второй урожай травы, выросшей после и из-за того, первого, покоса в мае.

Я мешкаю, тяну с рассказом. Я задерживаюсь на предшествующем, ибо тогда еще были возможны другие развязки; с высоты ястребиного полета сближение шести фигур на зеленой плоскости – успокаивающая геометрия, легко узнаваемый символ бильярдного стола. Исходные условия, сила и направление этой силы определяют все последующие траектории, все углы столкновения и отскока, и верхний свет заливает поле, зеленое сукно с движущимися объектами, внося ободряющую ясность. Я полагаю, что до момента встречи наше движение навстречу друг другу было исполнено математического изящества. Я так подробно описываю диспозицию, указывая сравнительные расстояния и стороны света, потому что начиная с того момента я вообще перестал ясно осознавать, что происходит.

Куда мы так бежали? Не думаю, что кто-нибудь знал это толком. Самый простой ответ – к шару. Речь не об условном пространстве, отведенном для реплик или мыслей персонажа комикса, и не о шарике, наполненном горячим воздухом. Это был огромный шар с гелием, при-

родным газом, скованным из водорода в ядерном горниле звезд первым, в начале сотворения многочисленных и разнообразных материй Вселенной, включая нас самих и все наши мысли.

Мы бежали навстречу катастрофе, которая сама по себе была своеобразным горнилом, где личности и судьбы переплавлялись в новые формы. К шару крепилась корзина, в ней был мальчик, а рядом цеплялся за стропы мужчина, и ему нужна была помощь. Не будь воздушного шара, тот день все равно остался бы в памяти, но более приятным воспоминанием – воспоминанием о встрече после шестинедельной разлуки, самой долгой за семь лет нашей с Клариссой жизни вместе. По дороге в аэропорт Хитроу я сделал крюк на Ковент-Гарден и нашел какую-то полулегальную парковку рядом с «Карлуччо»¹. Зашел туда и набрал продуктов для пикника, главным лакомством которого должна была стать большая головка моццареллы, которую продавец выудил из глиняной бочки деревянной лопаткой. Еще я купил маслин, готовый салат и фокаччу². Затем поспешил на Лонг-Акр в «Бертрам Рота»³, чтобы получить подарок, заказанный ко дню рождения Клариссы. Не считая квартиры и машины, это была самая дорогая покупка в моей жизни. Казалось, эта редчайшая маленькая книжечка излучает тепло: выходя из магазина, я чувствовал его сквозь толстую коричневую упаковку.

Через сорок минут я изучал на табло расписание прилетов. Бостонский самолет приземлился только что, и я прикинул, что ждать придется еще полчаса. Если кто-то захотел бы доказательств дарвиновского утверждения, что все проявления человеческих эмоций в общем одинаковы и генетически предопределены, ему хватило бы нескольких минут в четвертом зале прилетов аэропорта Хитроу. Я видел одинаковую радость и одинаковые, неудержимо вспыхивающие улыбки на лицах нигерийской мамыши, тонкогубой шотландской бабушки, бледного, сдержанного японского бизнесмена, когда, толкая перед собой тележки для багажа, в толпе встречающих они вдруг видели знакомую фигуру. Приятно замечать непохожесть людей, но так же радует и сходство. Я стоял и слушал, как с одинаковой падающей интонацией, на выдохе, двое людей произносят имя, пробираясь сквозь толпу, чтобы обнять друг друга. Как это – мажорный второй слог, минор на втором или как-то иначе? Па-па! Иолан-та! Хо-би! Нз-е! Была еще другая нота, тихая, обращенная к серьезным и настороженным лицам малышей их долго отсутствовавшими папами и дедушками, лстивая и умоляющая о немедленном возвращении любви. Хан-на? Том-ми? Узнаешь меня?

Разворачивались и личные драмы: отец и сын-подросток, видимо турки, застыли в долгом безмолвном объятии, может быть, прощая друг друга, а может, скорбя по какой-то утрате; близнецы, дамы под пятьдесят, с явным отвращением приветствовали друг друга касанием рук и поцелуями в пространство около щеки; посаженный на плечи отца, которого он не признал, маленький американский мальчик кричал, чтобы его спустили на пол, к досаде своей усталой матери.

Но в основном вокруг были улыбки и объятия, и за тридцать пять минут я увидел более пятидесяти театральных хеппи-эндов, только каждая сценка была сыграна чуть хуже предыдущей, и, эмоционально опустошенный, я даже детей начал подозревать в неискренности. Я размышлял, насколько убедителен могу быть теперь при встрече с Клариссой, когда она похлопала меня по плечу. Пропустив меня в толпе, она подошла с другой стороны. Моя отстраненность мгновенно испарилась, и я произнес ее имя, не выбившись из общей интонации.

Меньше чем через час мы припарковались у обочины дороги, ведущей через буковые рощи в Чилтерн-Хиллз, что неподалеку от Кристмас-Коммон. Пока Кларисса переобувалась,

¹ «Карлуччо» – магазин итальянских деликатесов. (Здесь и далее прим. переводчика.)

² Фокачча – пряный хлеб.

³ «Бертрам Рота» – известный букинистический магазин.

я сложил припасы для пикника в рюкзак. Мы пошли по тропинке, держась за руки, еще опьяненные встречей; и привычное в ней: размер и ощущение ее руки, голос, теплый и спокойный, бледная кельтская кожа и зеленые глаза – все было новым, словно озарилось незнакомым светом, напомнившим мне наши первые встречи и долгие месяцы влюбленности. Или, представилось мне, я стал другим мужчиной, соперником, отбивающим ее у меня. Когда я сказал ей об этом, она засмеялась и заявила, что я самый озабоченный дурачок на белом свете; и, остановившись, чтобы поцеловаться и обсудить, не отправиться ли нам напрямик домой, в постель, мы заметили сквозь свежую листву наполненный гелием шар, сонно дрейфующий к западу над поросшей лесом долиной. Мы не разглядели ни мужчины, ни мальчика. Помнится, я подумал, но не сказал, насколько рискованно пользоваться транспортом, подчиняющимся воле скорее ветра, нежели пилота. Затем мне пришло в голову, что, может быть, вся прелесть как раз и заключается в этой естественности. А потом я забыл об этом.

Мы двигались через Колледж-Вуд в сторону Писхилла, останавливаясь, чтобы полюбоваться молодой зеленью буков. Каждый лист, казалось, сиял изнутри. Мы говорили о безупречности этого цвета, о весенней буковой листве и о том, как светлеет в душе при взгляде на нее. Мы углублялись в лес, а ветер крепчал, и ветви скрипели, как ржавые. Дорога была нам знакома. Это место, несомненно, красивейшее среди тех, что можно найти в часе от центра Лондона.

Мне нравились склоны и холмы этих полей, покрытых щебнем и известняком; тропинки, что убегают и теряются в темноте среди буков; довольно заброшенные, влажные низины, где густой поблескивающий мох покрывает гниющие стволы деревьев и изредка, мельком, можно увидеть продирающегося сквозь подлесок оленя.

Двигаясь на запад, мы говорили в основном об исследовании Клариссы – о Джоне Китсе, умирающем в Риме, в доме у подножия Испанской лестницы, где он временно поселился со своим другом Джозефом Северном. Возможно ли, что существуют еще три или четыре неопубликованных письма Китса? Могло ли одно из них быть адресовано Фанни Брон? У Клариссы были основания так думать, потому часть годового отпуска, отведенного на научную работу, она провела, путешествуя по Испании и Португалии, разыскивая дома, где знали Фанни Брон и Фанни, сестру Китса. Теперь она возвращалась из Бостона, где работала в Хьюстонской библиотеке в Гарварде, пытаясь разобраться в переписке дальних родственников Северна.

Последнее известное письмо Китса было написано им почти за три месяца до смерти и адресовано старому другу Чарльзу Брауну. Там он высокомерно бросает – мимоходом, почти в скобках – великолепный художественный образ: «...изучение контрастов, восприятие света и тени – все эти познания (в примитивном смысле), необходимые для поэзии, являются злейшими врагами излечения желудка». Именно в этом письме содержится знаменитое прощание, столь пронзительное в своей сдержанности и учтивости: «Вряд ли сумею с Вами попрощаться, даже в письме. Я всегда так неловко откланивался. Благослови Вас Господь! Джон Китс». Однако биографы единодушны, что Китс писал это письмо во время ремиссии туберкулеза, которая продлилась еще десять дней. Китс посетил виллу Боргезе, прогулялся на Корсо. С удовольствием послушал Гайдна в исполнении Северна; возмущившись качеством стряпни, кинул в окно свой обед и даже подумывал о новом стихотворении. Если письма этого периода действительно существовали, с какой стати Северну или, что более вероятно, Брауну их утаивать? Кларисса считала, что ей удалось найти ответ в нескольких фразах из переписки дальних родственников Брауна в 1840-е годы, но она хотела найти больше доказательств и различных источников. «Он знал, что никогда больше не увидится с Фанни, – сказала Кларисса. – В письме к Брауну он говорит, что даже вид ее написанного имени – больше, чем он может вынести. Однако он никогда не переставал думать о ней. В те декабрьские дни он чувствовал

себя достаточно сильным – и он так ее любил! Легко представить его пишущим письмо, которое он и не собирался отправлять».

Я молча сжал ее руку. Я мало знал о Китсе и его поэзии, но допускал, что в такой безнадёжной ситуации ему не хотелось писать именно потому, что он слишком любил ее. Позже мне пришло в голову, что интерес Клариссы к этим гипотетическим письмам как-то связан с нашими отношениями и с ее уверенностью в несовершенстве любви, не отраженной в письмах. Первое время после нашего знакомства, до того как мы купили квартиру, она писала мне страстные абстрактные послания, утверждающие исключительность и превосходство нашей любви над всеми существующими. Вероятно, суть любовного письма как раз и заключается в провозглашении уникальности. Я пытался соответствовать ей, но вся доступная мне искренность выражалась фактами, как мне казалось, удивительными: прекрасная женщина любит и желает быть любимой большим, неуклюжим, лысеющим парнем, который с трудом верит своему счастью.

На дороге к Мейденс-гроув мы остановились, чтобы взглянуть на ястреба. Воздушный шар, должно быть, еще раз пролетел над нами, пока мы шли по лесу, которым поросли низины вокруг заповедника. После полудня мы двигались вдоль насыпи, к северу, по Риджуэй-Пасс. Потом устремились по одной из широких дорог, ведущих от Чилтернских холмов на запад, к плодородным фермам. За Оксфордской долиной угадывались очертания Котсуолдских холмов, а за ними голубоватой призрачной массой поднимались, может статься, Бреконские Маяки⁴. Мы собирались устроить пикник здесь, где открывался самый красивый вид, но стало очень ветрено. Немного пройдя по полю назад, мы укрылись под дубами у его северного края. Именно из-за дубов мы не увидели, как упал воздушный шар. Позже я размышлял, почему его не отнесло на несколько миль дальше. А еще позже узнал, что на высоте ста пятидесяти метров ветер был совсем не таким, как на земле.

Беседа о Китсе сошла на нет, когда мы достали припасы. Кларисса вынула из сумки бутылку и, держа ее за дно, протянула мне. Как я уже говорил, горлышко коснулось моей ладони, когда раздался крик. Мужской баритон на высокой от страха ноте. Это было начало и, соответственно, конец. Завершилась глава, нет, целый этап моей жизни. Знай я это и имей тогда хоть пару свободных секунд, я позволил бы себе предаться легкой ностальгии. Семь лет нашего бездетного брака прошли в любви. Кларисса Мелон была влюблена еще в одного мужчину, но тут была небольшая проблема – его приближающееся двухсотлетие. Честно сказать, он даже помогал нам, обеспечивая равновесие в перепалках, которые являлись нашим способом поговорить о работе. Мы жили в квартире, стилизованной под ар-деко, на севере Лондона, без особых волнений: нехватка денег около года, испуг от неподтвердившего диагноза рака, разводы и болезни друзей, мои редкие маниакальные приступы недовольства работой, раздражавшие Клариссу, – но в целом ничто не угрожало нашему существованию, полному глубины и свободы.

Вот что мы увидели, оторвавшись от пикника: огромный серый шар в форме капли, размером с дом, опустился на поле. Пилот, видимо, наполовину выбрался из корзины, когда она коснулась земли. Его нога запуталась в веревке якоря. Налетающий порывами ветер то волок по земле, то подбрасывал его, относя шар к насыпи. В корзине остался ребенок, мальчик лет десяти. Внезапно наступило затишье, мужчина встал на ноги, хватаясь то за корзину, то за мальчика. Новый порыв ветра опрокинул пилота на спину и потащил, ударяя о кочки, он же пытался достать ногами землю или схватить якорь у себя за спиной, чтобы вогнать его в грунт. Даже если бы мог, он не решился бы освободиться от якорной веревки. Своим весом он мог удерживать шар у земли, ветер немедля вырвал бы веревку из рук.

⁴ Бреконские Маяки – две горы в Уэльсе, графство Бреконкшир. В старину на этих горах зажигали сигнальные огни.

На бегу я слышал, как он кричит на мальчика, торопя его выпрыгнуть из корзины. Но шар тащило по полю, и мальчик падал то к одной, то к другой стенке. Удержав равновесие, он перекинул было ногу через край корзины, но шар поднялся, налетев на бугор, опустился – и мальчика отбросило на дно. Снова поднявшись, он протянул руки к мужчине и что-то закричал в ответ – не знаю, были то слова или вопль ужаса.

Мне оставалось бежать еще метров сто, когда ситуация стала управляемой. Ветер ослаб, мужчина встал, дотянулся до якоря и воткнул его в землю. Ему удалось и распутать веревку на ноге. Почему-то – из-за самоуверенности, усталости, а может, просто подчиняясь командам, – мальчик оставался в корзине. Неистовый шар колыхался, клонился и дергался, но зверь был усмирён. Сбавив скорость, я, однако, не остановился. Выпрямившись, мужчина увидел нас – по крайней мере, работников с фермы и меня – и призывно махнул. Он еще нуждался в помощи, но я с радостью перешел с бега на быстрый шаг. Работники с фермы тоже прекратили бежать. Один громко закашлялся. Но водитель Джон Логан знал больше, чем мы, и продолжал бежать. Что касается Джеда Перри, то его я не видел из-за упавшего между нами шара.

Ветер с новой силой закачал верхушки деревьев, и я сразу почувствовал, как он толкнул меня в спину. Затем ветер ударил по шару, и тот внезапно застыл, прекратив свои невинные комичные виляния. Лишь мерцающие волны побежали по растягивающемуся шару, полному скопившейся энергии.

И она освободилась – разбросав комья грязи, якорь вылетел, и шар вместе с корзиной взлетел метра на три. Мальчика отбросило назад, с глаз долой. Державшегося за веревку пилота приподняло на полметра в воздух. Если бы подоспевший Логан не ухватился за одну из свисающих веревок, мальчика бы унесло. Теперь обоих мужчин волокло по полю, а мы с работниками снова бежали.

Я добежал первым. Когда я вцепился в веревку, корзина уже была над нашими головами. Мальчик внутри кричал. Несмотря на ветер, я чувствовал запах мочи. Через пару секунд другую веревку поймал Джек Перри, сразу за ним ухватились и работники с фермы – Джозеф Лейси и Тоби Грин. Грин заходился в кашле, но не разжимал рук. Пилот выкрикивал какие-то приказы, но уж чересчур неистово, и никто его не слушал. Он боролся так долго, что выбился из сил и был просто не в себе. Впятером повиснув на веревках, мы удержали шар. Осталось лишь как следует упереться ногами и опустить корзину, что мы и начали делать, не обращая внимания на крики пилота.

К тому моменту мы стояли на откосе. Склон под углом градусов двадцать пять заканчивался небольшим холмиком. Зимой – любимое место для катания на санках у местной детворы. Мы заговорили разом. Двое из нас, я и водитель, предлагали оттащить шар с откоса. Кто-то считал, что главное – поскорее вытащить из корзины мальчика. Еще кто-то хотел спустить шар, чтобы закрепить якорь. Я не понимал, почему бы не опустить шар, одновременно передвигая его на поле. Но победил второй вариант. У пилота был четвертый по счету план, но никому не было до этого дела.

Я должен пояснить кое-что. У нас была некая общая цель, но командой мы не стали. Для этого не было ни времени, ни возможности. Единство времени и места и желание помочь свели нас под этим шаром. Ответственности за происходящее не нес никто – или одновременно нес каждый, – и мы громко спорили. Покрасневшего, потного и орущего пилота мы игнорировали. Он просто излучал некомпетентность. Но свои идеи мы тоже принялись выкрикивать. Думаю, если бы всем руководил я, трагедии бы не случилось. Позже я слышал, как кто-то из остальных говорил про себя то же самое. Но тогда не было ни времени, ни шанса проявить силу характера. Любой лидер, любой четкий план были бы лучше, чем никакого. От охотников-собирателей и до постиндустриализма не существовало человеческих сообществ, известных антропологам,

обходившихся без лидера и управления, и еще ни одна критическая ситуация не была разрешена демократическим путем.

Нам без труда удалось опустить корзину, чтобы заглянуть в нее. Но появилась новая проблема. Мальчик лежал на дне, сжавшись в комок, закрыв лицо руками, он судорожно вцепился себе в волосы.

– Как его зовут? – спросили мы у побагровевшего мужчины.

– Гарри.

– Гарри! – закричали мы. – Гарри, давай! Гарри! Держись за мою руку, Гарри. Вылезай оттуда, Гарри!

Но Гарри только сильнее съеживался. Каждый раз, когда мы произносили его имя, он вздрагивал. Наши слова сыпались на него, словно камни. Воля его была парализована; подобное состояние осознанной беспомощности часто бывает у лабораторных животных под воздействием нетипичного стресса – рефлекс, направленные на разрешение проблемы, исчезают, притупляется инстинкт самосохранения. Мы опустили корзину и удерживали ее так, но стоило нам попробовать наклониться, чтоб вытащить мальчика, как пилот растолкал нас и полез внутрь.

После он утверждал, что комментировал свою попытку. Мы не слышали ничего, кроме собственных криков и чертыханий. Его действия казались нелепыми, но, как выяснилось, идея была здравой. Он собирался дернуть запутавшийся в корзине шнур, чтобы выпустить газ из шара.

– Придурок! – закричал на него Лейси. – Помоги вытащить мальчишку!

Я понял, что приближается, за две секунды до того, как нас накрыло. Словно экспресс мчался по кронам прямо на нас. Свист и вой достигли предела громкости за полсекунды. В сводке погоды, использованной потом в расследовании, говорилось о порывах ветра, достигавших семидесяти миль в час. Вероятно, это был один из них, но, прежде чем я позволю ему настигнуть нас, позвольте остановить мгновение – ибо в неподвижности есть некая безопасность, – чтобы описать нашу группу.

Справа от меня откос. Слева, вплотную ко мне, Джон Логан, семейный доктор из Оксфорда, сорока двух лет, жена – историк, двое детей. Не самый молодой, но самый спортивный из нас. Играл в теннис на кубок графства и состоял в клубе альпинистов. Некогда работал в команде спасателей «Вестерн Хайлендз». По-видимому, Логан был мягким, сдержанным человеком, иначе он мог бы заставить нас признать за ним лидерство. Слева от него стоял Джозеф Лейси, шестидесятитрехлетний временный работник на ферме, капитан местной команды по боулингу. Вместе с женой он жил в Уоллингтоне, в маленьком городишке у подножия холма. Еще левее – Тоби Грин, его приятель, пятидесяти восьми лет, неженатый, такой же работник с фермы, живущий в Расселз-Уотер вместе с матерью. Оба они работали в поместье Стонора. Именно Грин кашлял как заядлый курильщик. Следующим в группе пытается залезть в корзину пилот Джеймс Гэдд, пятидесяти пяти лет, руководитель маленькой рекламной фирмы, живущий в Рединге вместе с женой и одним из своих взрослых детей, умственно отсталым. В ходе расследования выяснилось, что Гэдд нарушил половину правил безопасности, равнодушно перечисленных следователем. Его лицензия на управление воздушным шаром оказалась просроченной. Мальчик в корзине – его внук Гарри Гэдд, десяти лет, из Кэмберуэлла, Лондон. Напротив меня, справа от откоса, стоял Джек Перри. Ему было двадцать восемь, он нигде не работал, жил на полученное наследство в Хэмпстеде.

Так выглядела наша компания. Пилот, как мы понимали, уже окончательно отказался от руководства. Мы запыхались, были взвинчены, каждый увлечен своим планом, а мальчик совсем не боролся за жизнь. Лежа на боку, он закрывался руками от мира. Лейси, Грин и я

пытались выудить его оттуда, пока Гэдд норовил перелезть через нас, а Логан и Перри выкрикивали разные советы. Гэдд наступил одной ногой внуку на голову, и Грин разразился бранью. Два удара некоего могущественного кулака сокрушили шар – раз и два, и второй удар был хуже первого. Но и первый был ужасен. Он вышвырнул Гэдда из корзины на землю и поднял шар на полтора метра вверх. Немалый вес Гэдда был исключен из уравнения. Веревка рванулась из моих рук, обжигая ладони, но я сумел перехватить ее за полметра до конца.

Остальные тоже держались крепко. Теперь корзина висела над нашими головами, мы стояли, подняв руки, как церковные звонари в воскресенье. Никто не успел сказать ни слова, когда в этой изумленной тишине налетел второй удар и метнул шар вверх и к западу. Внезапно мы оказались в воздухе.

Одна или две секунды над землей занимают в памяти столько же, как долгое путешествие по реке, еще не отмеченной на картах. Моим первым порывом было держаться изо всех сил, чтобы своим весом опустить шар. Погибал беспомощный ребенок. В двух милях к западу шли высоковольтные линии. Ребенок один, ему нужна помощь. Я обязан удерживать шар. Я думал, все остальные чувствуют то же самое.

Почти одновременно с желанием держаться за веревку и спасти мальчика, на долю секунды позже, появились другие мысли, в которых слились страх и мгновенные, логарифмической сложности вычисления. Мы поднимались, земля отдалялась, шар несло к западу. Я понимал, что должен ухватиться за веревку ногами. Но веревка заканчивалась чуть ниже пояса и ноги соскальзывали. Я хватал ногами пустоту. С каждой долей секунды расстояние до земли увеличивалось, в какой-то момент выпустить веревку будет невозможно или смертельно опасно. А сжавшийся в корзине Гарри по сравнению со мной был в безопасности. Шар вполне мог мягко приземлиться у подножия холма. И вероятно, мой порыв держаться за веревку до последнего был не более чем продолжением недавних попыток – сразу признать поражение нелегко.

И тут, прежде чем в следующий раз стукнуло накачанное адреналином сердце, в уравнение ввели новую переменную: кто-то выпустил веревку, и шар вместе с висящими на нем людьми поднялся еще на пару метров.

Я не знаю, не смог выяснить, кто выпустил веревку первым. Я не готов признать, что это был я. Но каждый из нас утверждает, что не был первым. Ясно лишь, что, если бы наш ряд не дрогнул, общего веса хватило бы опустить шар на откосе, когда через несколько секунд порыв утих. Но, как я уже объяснял, мы не были командой, не имели общего плана, не было договоренности, а значит, нечего было нарушать. Никаких невыполненных обязательств. Выходит, все правильно, каждый сам за себя? Сделало ли нас счастливее это разумное решение? Мы не обрели покоя, ведь глубоко в нас засел древний и непреложный завет. Сотрудничество – вот основа наших первых успехов на охоте, сила, вызвавшая эволюцию языка, клей, соединяющий нас в общество. Наша горечь впоследствии доказывала – мы знали, что подвели самих себя. Хотя выпустить веревку нам также велела наша натура. Эгоизм также написан в наших сердцах. Дилемма всех млекопитающих: что отдать другому, а что оставить себе. Топчась на этом рубеже, мы сдерживаем остальных, они сдерживают нас, и мы называем это моралью. Повисшая в нескольких метрах над Чилтернскими холмами, наша команда иллюстрировала древний и неразрешимый моральный конфликт: «мы» или «я».

Кто-то сказал «я», и продолжать говорить «мы» не имело смысла. Обычно мы хорошие, когда в этом есть смысл. Хорошо сообщество, дающее смысл хорошим поступкам. Неожиданно мы, висящие под корзиной, стали плохим сообществом, мы были разобщены. Неожиданно благоразумным выбором стал эгоизм. Мальчик в корзине не был моим ребенком, и я не собирался умирать за него. Все было решено в тот момент, когда я заметил чье-то – чье же? – падение и почувствовал, как шар еще приподнялся; альтруизму не осталось места. В

хороших поступках не было смысла. Я отпустил веревку и упал метров, кажется, с четырех. Тяжело приземлившись на бок, ушиб бедро. Вокруг – не помню точно, до или после, – падали остальные. Джек Перри не ушибся. Тоби Грин сломал лодыжку. Джозеф Лейси, самый старый, отслуживший в свое время в парашютном полку, сгруппировался перед приземлением.

Пока я поднимался на ноги, шар отнесло уже метров на пятьдесят, и лишь один человек еще висел на веревке. В Джоне Логане, муже, отце, докторе и спасателе-альпинисте, огонь альтруизма горел чуточку сильнее. А большего и не требовалось. Когда мы вчетвером отпустили веревки, шар, где было двести пятьдесят кубометров газа, взмыл вверх. Секундного промедления оказалось достаточно, чтобы лишить Логана выбора. Когда я встал и увидел его, он был на высоте сорок метров и продолжал подниматься, а земля под ним уходила под откос. Он не боролся, не дергал ногами и не пытался подтянуться к корзине. Просто неподвижно висел, продолжая линию веревки, и старался удержать слабеющую хватку. Он уже был крошечной фигуркой, почти черной на фоне неба. Мальчика не было видно. Шар с корзиной, набирая высоту, двигался к западу, и чем меньше становился Логан, тем ужаснее это выглядело, жутко до смешного – это трюк, шутка, комикс... Испуганный смешок вырвался из моей груди. Происходящее казалось абсурдом, это могло приключиться с Багзом Банни, с Томом или Джерри, и на мгновение мне показалось, что это неправда и только я понимаю смысл этой шутки и что мое безоговорочное неверие исправит реальность, опустив доктора Логана на землю.

Не знаю, где стояли или лежали остальные. Тоби Грин, наверное, согнулся над сломанной лодыжкой. Помню только, в какой тишине раздался мой смех. Ни прежних криков, ни указаний. Тихая безысходность. Он уже был в восьмидесяти метрах от нас и в ста от земли. Наше молчание было признанием смертного приговора. Или позорного страха, потому что ветер стих и лишь слегка обдувал наши спины. Логан уже столько висел на веревке, что мне показалось, он сможет удержаться, пока шар не опустится, или до того, как мальчик придет в себя и найдет клапан, выпускающий воздух, либо до той поры, когда некий луч, или бог, или другая невероятная штука из мультфильмов появится и подберет его. Именно в этот миг надежды мы увидели, как он сполз к самому концу веревки. Но еще висел. Две секунды, три, четыре. А потом соскользнул. И даже тогда, в миг начала падения, я продолжал уповать на то, что некий причудливый физический закон, неистовый воздушный поток, феномен, поразительный не менее виденного нами, вмешается и поднимет его обратно. Мы смотрели, как он падает. Наблюдали за ускорением. Никакого снисхождения, никаких исключений для живого человека за его храбрость или доброту. Одна безжалостная гравитация. Слабый вскрик – может, его, а может, какой-то равнодушной вороны – прорезал застывший воздух. Он летел так же, как висел, – маленькой, застывшей черной линией. Я никогда не видел ничего ужаснее, чем этот падающий человек.

2

Лучше сбавить темп. Давайте внимательно посмотрим на первые тридцать секунд после падения Джона Логана. Что происходило одновременно, а что одно за другим, что говорилось, как мы двигались или замерли, что я думал – все это нужно разложить по полочкам. Так много последовало за этим происшествием, столько ответвлений и развилок появилось с того момента, такие тропы любви и ненависти протянулись от этой точки, что немного рефлексии, даже занудства только помогут мне. Лучшее описание действия не должно подражать его быстроте. Целые тома, целые исследовательские институты посвящены тридцати секундам от начала мира. Головокружительные теории хаоса и турбулентности утверждают значимость исходных условий, нуждающихся в тщательном описании.

Я уже обозначил начало, повлекшее взрыв, прикосновением к горлышку бутылки и криком. Но это мгновение относительно, как точка в евклидовой геометрии, и легко переносится в момент, когда мы с Клариссой запланировали пикник после встречи в аэропорту, или когда выбирали маршрут и место, в котором остановиться, или в миг, когда приступили к еде. Всегда остается какое-то «до». Исходная точка – лишь уловка, и какую точку считать исходной, зависит от того, насколько она определяет последствия. Прикосновение холодного стекла к коже и крик Джеймса Гэдда – эти моменты фиксируют переход, развилку с ожидаемым: от вина, которое мы не успели попробовать (мы выпили его той ночью, чтобы забыться), к судебной повестке, от восхитительной жизни, устраивающей нас, к испытаниям, которые предстояло вынести.

Когда я уронил бутылку с вином, собираясь бежать по полю навстречу воздушному шару с болтающейся корзиной, навстречу Джеду Перри и остальным, на перепутье я выбрал дорогу, лишившую нас обычной спокойной жизни. Борьба с веревками, утерянное единство и гибель Логана – явно значимые события, сформировавшие нашу историю. Но теперь в миге после падения я различаю неуловимые детали, повлиявшие на развитие событий. Момент, когда Логан ударился о землю, должен был стать концом истории, а не еще одним перепутьем. Тот полдень мог закончиться лишь этой трагедией.

В ту секунду или две, когда падал Логан, у меня возникло ощущение дежавю, и я тут же определил его источник. Ко мне вернулся кошмар, от которого я иногда просыпался с криком и в двадцать, и в тридцать лет. Декорации варьировались, но суть – никогда. Я оказывался на каком-то выступе и наблюдал за происходящей вдали катастрофой – землетрясением, пожаром в небоскребе, кораблекрушением или извержением вулкана. Я видел беспомощных людей, превращенных расстоянием в однообразную массу, суетящихся в панике, обреченных на смерть. Ужас заключался в контрасте между их видимым размером и колоссальностью их страданий. Жизнь обесценивалась на глазах, тысячи вопящих людей, каждый не крупнее муравья, подлежали уничтожению, а я ничем не мог помочь. Но тогда я не столько думал об этом сне, сколько переживал наплыв чувств – ужаса, вины и беспомощности, – и к горлу подступала тошнота предчувствия.

Внизу, там, где откос кончался, была лужайка, используемая под выгон и огороженная подстриженными ивами. За ними, на лугу побольше, паслись овцы с парой ягнят. Мы прекрасно видели центр этого луга, куда приземлился Логан. Мне показалось, в момент удара тонкая фигурка разольется или растечется по земле, как капля густой жидкости. Но, стоящие, как выяснилось, в оцепенении, мы увидели компактный комочек его скрюченного тела. Ближайшая овца метрах в пяти едва взглянула на него.

Джозеф Лейси склонился над своим другом Тоби Грином, который не мог встать. Справа от меня стоял Джек Перри. Чуть позади – Джеймс Гэдд. Логан интересовал его меньше, чем нас. Гэдд что-то кричал о внуке, которого относил через Оксфордскую долину к высоковольт-

ным проводам. Растолкав нас, он побежал вниз по холму, словно пытаясь догнать шар. «В нем говорит голос крови», – глупо подумалось мне тогда. Сзади подошла Кларисса и обняла меня за талию, уткнувшись лицом в мою спину. Меня удивило, что она уже плачет (я чувствовал ее слезы сквозь рубашку), моя печаль была еще где-то далеко.

Словно во сне, я одновременно был и участником, и зрителем. Я действовал и наблюдал свои действия со стороны. У меня возникали мысли, и я смотрел, как они текут, будто за прозрачным экраном. Мои реакции, как во сне, отсутствовали либо были абсурдными. Слезы Клариссы я принял как факт, но мне нравилось, как мои широко расставленные ноги упираются в землю и как скрещены на груди мои руки. Я оглядел поля и начертил на них мысль: *этот человек мертв*. Я почувствовал, как тепло эгоизма окутывает меня, и поежился от удовольствия. Напрашивался вывод: *а я еще жив*. Кто выжил, а кто нет – каждый раз это вопрос случая. Мне повезло остаться в живых. В этот момент я заметил, как смотрит на меня Джек Перри. Его вытянутое скуластое лицо выражало один мучительный вопрос. Он глядел затравленно, как собака перед наказанием. Через секунду после того, как взгляд ясных серо-голубых глаз незнакомца встретился с моим, я почувствовал, что могу включить его в теплое ощущение собственной удачи – остаться живым. Даже мелькнула мысль успокаивающе похлопать его по плечу. Мои мысли на экране гласили: *У парня шок. Он хочет от меня помощи*.

Знай я, что значил для него тот мимолетный взгляд, и как он истолкует его позже, и каких нагородит вокруг этого фантазий, я бы не был так добр. В его горестном, вопрошающем взгляде распускался первый цветок того, о чем я совершенно не подозревал. Мое эйфорическое спокойствие было лишь признаком шока. Я дружелюбно кивнул Перри и, не обращая внимания на Клариссу за спиной – я занят, я успокою всех по очереди, – сказал ему, как мне казалось, спокойным уверенным голосом:

– Все хорошо.

Эта вопиющая ложь так приятно отозвалась меж моих ребер, что я чуть не повторил ее снова. А может, и повторил. Я был первым, кто заговорил после удара Логана о землю. Я полез в карман брюк и выудил мобильный телефон. Округлившиеся глаза молодого человека я воспринял как свидетельство уважения. Именно уважение к себе я ощущал, пока держал на ладони плотный маленький брусочек и большим пальцем той же руки трижды набирал девятку. Я был экипирован, предприимчив, мобилен. Когда оператор ответил, я попросил прислать полицейских и «скорую помощь», а также выдал ясный и краткий отчет о происшедшем, мальчишке, которого унесло на шаре, о нашем местонахождении и возможных путях проезда. Это все, что я мог сделать, едва удерживая возбуждение. Мне хотелось кричать – командовать, проповедовать, выкрикивать бессвязные гласные. Я был взвинчен и суетлив и, возможно, выглядел счастливым.

Когда я закончил разговор, Джозеф Лейси сказал:

– Ему «скорая помощь» не нужна.

Грин оторвал взгляд от своей лодыжки.

– Они должны его забрать.

Я вспомнил. Ну конечно. Вот что мне нужно – действовать. Я был уже невменяем, готов драться, бежать, танцевать – что угодно.

– Он, может, еще жив, – сказал я. – Всегда есть шанс. Мы сейчас спустимся и посмотрим.

Произнеся это, я обнаружил, что у меня дрожат ноги. Я хотел спуститься по склону, но боялся, что не удержу равновесия. Идти вверх было бы проще. Я сказал Перри:

– Пойдем со мной.

Это прозвучало не предложением, а просьбой, как будто я нуждался в нем. Он глядел на меня, не в силах вымолвить ни слова. Каждый мой жест, каждое слово – все разбиралось, складывалось и упаковывалось, чтобы стать топливом в долгую зиму его одержимости.

Освободившись из объятий Клариссы, я обернулся. Мне не пришло в голову, что она пытается удержать меня.

– Нужно спуститься, – тихо сказал я. – Вдруг еще можно что-то сделать.

Я отметил, как смягчился мой тон, как стал тише голос. Я был героем мыльной оперы. *Он разговаривает со своей женщиной.* Интимный разговор, двое крупным планом.

Кларисса положила руку на мое плечо. Позже она рассказала, как ей хотелось дать мне пощечину.

– Джо, – прошептала она, – успокойся.

– В чем дело? – спросил я чуть громче.

Человек умирает посреди поля, а никто и не пошевелится. Кларисса смотрела на меня, и, хотя слова были готовы сорваться с губ, она не собиралась объяснять, почему я должен успокоиться. Я отвернулся и сказал остальным, казалось, ждавшим моих указаний:

– Я спускаюсь к нему. Кто со мной?

Не дожидаясь ответа, я мелкими шажками направился вниз по склону, чувствуя водянистую слабость в коленях. Через двадцать секунд я оглянулся. Никто не сдвинулся с места.

По мере спуска мой порыв ослаб, я почувствовал себя загнанным и одиноким в своем решении. И еще возник страх – не во мне, а на поле, растекшийся, как туман, и сгущающийся в центре. Я направлялся туда, и выбора не было, потому что они смотрели на меня и вернуться означало бы еще и взбираться на холм – двойное унижение. Эйфория исчезла, страх просачивался в меня. Мертвец, встречаться с которым не хотелось, ждал меня на поле. Еще хуже было бы найти его живым и умирающим. Тогда я окажусь с ним наедине, а мои навыки оказания первой помощи годятся лишь для глупых конкурсов на вечеринках. Его этим не проймешь. Он все равно умрет у меня на руках, и его смерть останется на них. Мне захотелось обернуться и позвать Клариссу, но я знал, они смотрят на меня, и устыдился своего хвастовства наверху. Этот долгий спуск был моим наказанием.

Я добрался до линии подстриженных ив у основания холма, миновал сухую канаву и перелез через ограду из колючей проволоки. Теперь я был вне их взглядов, и меня тошнило. Вместо этого я помочился возле пня. Рука сильно тряслась. Потом стоял просто так, оттягивая момент, когда придется идти через поле. Скрывшись из виду, я испытал физическое облегчение, словно укрылся в тени от палящего солнца. Я знал, где находится Логан, но не решался взглянуть туда даже издали.

Овцы, едва заметившие падение, разглядывали меня и отступали короткими перебежками, когда я проходил мимо. Мне стало немного лучше. Я посматривал на Логана лишь краем глаза, но заметил, что он не лежит на земле. В центре поля что-то торчало, некая приземистая антенна, которой он стал. Лишь когда до него оставалось не больше двадцати метров, я позволил себе взглянуть.

Он сидел прямо, спиной ко мне, будто медитировал или смотрел вслед шару, унесенному Гарри. Его поза была полна спокойствия. Я подошел ближе, испытывая смутную неловкость, как будто подкрадываюсь к нему сзади, и радовался, что не вижу его лица. Я еще цеплялся за вероятность существования какого-то неизвестного мне способа, физического закона или процесса, позволившего ему выжить. Казалось, он сидит тихонько посреди поля и приходит в себя после пережитого ужаса. Это вновь дало мне надежду, заставило глупо откашляться и, зная, что никто больше не услышит этого, произнести:

– Вам помочь?

Тогда это не звучало так нелепо. Я видел его кудрявые волосы и обгоревшие на солнце кончики ушей. Твидовый пиджак на нем не испачкался, хотя странно обвис, плечи явно стали уже, чем должны были быть. Уже, чем у любого взрослого человека. Они не расходились в стороны от основания шеи. Кости скелета сложились внутри, оставив голову на тонкой палочке. Разглядев это, я догадался: то, что я принял за спокойствие, было *отсутствием*. Здесь никого

нет. Это тишина безжизненности, и я почувствовал вновь, так как видел мертвое тело не впервые, – вот зачем в донаучную эпоху понадобилось изобрести душу. Это выглядело не менее убедительно, чем иллюзия погружающегося за горизонт вечернего солнца. Мгновенная остановка бесчисленных взаимосвязанных нейронных и биохимических процессов, увиденная невооруженным глазом, кажется вылетевшей искрой, простым исчезновением одной необходимой составляющей. И какими бы просвещенными мы себя ни считали, в присутствии мертвых нас все равно охватывает страх и благоговение. Вероятно, сама жизнь действительно поражает нас в тот момент.

Пытаясь защититься этими мыслями, я обходил труп. Он сидел в небольшой ямке. Я не осознавал, что Логан мертв, но как только посмотрел в его лицо, понял это мгновенно.

Хотя кожа уцелела, это трудно было назвать лицом – вся костная структура разрушилась; прежде чем отвести взгляд, я осознал радикальное, в духе Пикассо, нарушение законов перспективы. Может быть, я лишь выдумал вертикально расположенные глаза. Отвернувшись, я увидел Перри, направлявшегося ко мне через поле. Очевидно, он давно следовал за мной по пятам, ибо был уже в пределах слышимости. И он, должно быть, видел, как я задержался в тени деревьев.

Я наблюдал за ним через голову Логана, когда он замедлил шаг и крикнул мне:

– Не трогай его, пожалуйста, не трогай.

Я и не собирался, но промолчал, рассматривая Перри словно впервые. Упершись руками в бока, он стоял и глядел не на Логана, а на меня. Даже тогда я интересовал его сильнее. Он пришел что-то сказать мне. Высокий и худой, одни кости и мускулы, он неплохо смотрелся. На нем были джинсы и новенькие кроссовки с красными шнурками. Кости просто выпирали из него, но не так, как у Логана. Большие и узловатые костяшки пальцев, касающиеся кожаного ремня, туго натягивали белую кожу. Острые, четкие скулы и собранные в хвост волосы делали его похожим на бледнолицего индейского воина. Его внешность впечатляла, даже казалась слегка угрожающей, но голос опровергал это. Слабый, неуверенный, без провинциального выговора, но со следами интонаций, характерных для кокни⁵, – отвергнутое прошлое или бравада. У Перри была привычка, характерная для его поколения, вопросительно повышать интонацию в конце предложения – жалкое подражание американцам или австралийцам, или, как я слышал от одного лингвиста, молодежь, мол, слишком завязла в относительных суждениях и им не хватает духа называть вещи своими именами.

Конечно, тогда я не думал об этом. Лишь уловил жалобное бессилие и расслабился. Вот что он сказал:

– Кларисса там беспокоится за тебя! Я сказал ей, пойду посмотрю, как ты там.

Я мрачно промолчал. Я уже достиг того возраста, когда раздражает панибратское обращение по имени, еще меньше мне понравилось утверждение, что он разбирается в душевных порывах Клариссы. В тот момент я даже не знал его имени. Даже сидящий между нами мертвец не отменял существующих норм поведения. Позже я узнал от Клариссы, что Перри подошел к ней познакомиться, а потом раз вернулся и пошел за мной. Она ничего ему про меня не говорила.

– Тебе нехорошо?

Я сказал:

– Теперь уж ничего не поделаешь, мы можем только ждать, – и показал на дорогу за полем.

Перри подошел на пару шагов и поглядел на Логана, а потом опять на меня. Его серо-голубые глаза блестели. Он был возбужден, но никто не догадывался, как сильно.

⁵ Кокни – житель Лондона, уроженец Ист-Энда, представитель рабочих слоев населения и один из самых известных типов лондонского просторечия.

– Вообще-то кое-что, я думаю, мы можем сделать.

Я взглянул на часы. Прошло пятнадцать минут с момента моего звонка в службу спасения.

– Давай, – сказал я, – делай.

– Мы могли бы сделать это вместе, – произнес он и огляделся в поисках подходящего места.

У меня промелькнула дикая мысль, что он собирается провести над трупом некий возмутительный ритуал. Он стал опускаться на землю и взглядом предложил последовать его примеру. И тут я понял. Он стоял на коленях.

– Вот что мы можем, – сказал он с серьезностью, исключаящей розыгрыш, – помолиться вместе. – И прежде чем я успел возразить – а я аж потерял дар речи, – Перри добавил: – Я знаю, это непросто. Но это помогает, вот увидишь. Поверь, в такие минуты это очень помогает.

Я чуть-чуть отошел от Логана и Перри. Первым, немного смущенным порывом было не обидеть чувства верующего. Но я взял себя в руки. Ведь он не боялся, что обидит меня.

– Извини, – вежливо сказал я, – это не в моих привычках.

Стоя на коленях, Перри пытался высказываться убедительно и разумно:

– Послушай, мы с тобой не знакомы, и у тебя нет особых причин доверять мне. Лишь одна – Господь свел нас в этом несчастье, и мы должны как следует осмыслить случившееся. – Видя, что я не двигаюсь, он добавил: – Мне кажется, ты сейчас особенно нуждаешься в молитве.

Я пожал плечами и ответил:

– Извини. Но ты давай молись.

Я произнес это как какой-нибудь американец, изображая дружелюбие, которого и в помине не было.

Перри не сдавался. Он так и стоял на коленях.

– Похоже, ты не понимаешь. Не воспринимай это как обязанность. Ты просто выразишь свои потребности. Поверь, со мной это никак не связано. Я только посланник. Дар свыше.

Он давил все сильнее, и остатки моего смущения испарились.

– Спасибо, нет.

Перри закрыл глаза и глубоко вздохнул, но не в молитве, а собираясь с силами. Я решил вернуться на холм. Услышав, что я ухожу, он поднялся и направился за мной. Он явно не хотел меня отпускать. В отчаянии он шел за мной, не меняя, однако, терпеливого, всепонимающего тона. С какой-то вымученной улыбкой он произнес:

– Пожалуйста, не отмахивайся от этого. Понимаю, в обычном состоянии ты не молишься. Но ведь знаешь, тебе даже не нужно ни во что верить, просто позволь себе это сделать, и я обещаю, я обещаю...

Пока он путался в условиях своего обещания, я отступил назад и перебил его, испугавшись, что еще немного – и он попытается дотронуться до меня.

– Слушай, мне очень жаль. Я возвращаюсь, хочу посмотреть, как там моя подруга. – Я не мог заставить себя произнести при нем имя Клариссы.

Он все же понял, что единственный шанс удержать меня – радикально сменить тон. Я прошел уже несколько шагов, когда он резко воскликнул:

– Хорошо, хорошо! Только не откажи в любезности, объясни мне одну вещь.

Против этого я не устоял. Я остановился и повернулся.

– Что именно тебе мешает? Можешь ты объяснить мне, знаешь ли ты сам, что это?

Сначала я решил не отвечать, показывая ему, что его вера на меня лично не накладывает никаких обязательств. Но потом передумал и сказал:

– Ничего. Мне ничего не мешает.

Он пошел ко мне, руки бессильно свисали вдоль тела, ладони открыты, олицетворяя маленькую мелодраму разумного человека, попавшего в затруднительное положение.

– Тогда почему бы тебе не использовать такую возможность, – сказал он с улыбкой, полной житейской мудрости. – Может, ты уловишь суть, почувствуешь силу, которую это дает. Скажи, почему ты не хочешь?

Поколебавшись, я собрался промолчать. Но потом решил, что ему все же следует знать правду.

– Потому что, друг мой, никто не услышит. Там, наверху, никого нет.

Перри гордо поднял голову, счастливейшая улыбка засияла на его лице. Я засомневался, правильно ли он меня понял: он выглядел так, будто я признался, что я – Иоанн Креститель. И тут за его плечом я заметил двух полицейских, перебирающихся через штaketник. Когда они бежали к нам по полю, один в стиле «кистоунских копов»⁶ придерживал шляпу рукой. Они приближались, чтобы начать официальное расследование судьбы Джона Логана и заодно избавить меня от сияющей любви и заботы Джеда Перри.

⁶ Герои американского цикла короткометражных эксцентричных комедий 1920-х гг.

3

К шести вечера мы уже вернулись домой, на нашу кухню, где все выглядело прежним – вокзальные часы над дверью; библиотека книг Клариссы, посвященных кулинарии; позавчерашняя записка каллиграфическими буквами от приходящей уборщицы. Оставшиеся после моего завтрака кофейная чашка и газета ничуть не изменились, что казалось богохульством. Пока Кларисса относила свой багаж в спальню, я убрал со стола, открыл предназначавшееся для пикника вино и достал два бокала. Мы сели друг напротив друга, и тут нас прорвало.

В машине мы почти не говорили. Радовало уже то, что поток машин не причиняет нам вреда. А дома хлынула лавина: вскрытие, переживание, разбор полета, приступы тоски и выплески ужаса. События и ощущения, каждая наша фраза и слово, отточенные и осмысленные, столько раз повторялись в тот вечер, что наш разговор мог показаться неким ритуалом, где используются не описания, а заклинания. Повторы успокаивали, как и знакомая тяжесть бокала с вином, сосновый стол, принадлежавший еще прабабке Клариссы. По краям столешницы, вытертой – как я часто представлял – локтями, так похожими на наши, царапины от ножей соседствовали с маленькими гладкими вмятинами; за этим столом обсуждалось немало проблем и смертей.

Кларисса торопливо рассказала начало своей истории, как качался запутанный клубок из веревок и мужчин, которые кричали и ругались, как она подошла помочь, но не нашла свободного конца веревки. Вдвоем мы покрыли проклятиями пилота Джеймса Гэдда и его безответственность, но это лишь ненадолго защитило от мыслей, чего не сделали мы, чтобы предотвратить смерть Логана. Мы перескочили на момент, когда он соскользнул с веревки, и еще не раз возвращались к нему тем вечером. Я вспомнил, как он словно завис в воздухе перед тем, как упасть, а она рассказала, что перед ней промелькнула строка из Мильтона: «...низверг строптивцев, объятых пламенем...»⁷ И мы отступали от этого мгновения снова и снова, окружали его, подкрадывались, пока не загнали в угол, где принялись умирять его словами. Мы вернулись к борьбе с шаром и веревками. Я чувствовал, что меня начинает мутить от чувства вины, но еще не мог говорить об этом. Показал Клариссе содранную веревкой кожу на ладонях. Мы справились с бутылкой меньше чем за полчаса. Кларисса поднесла мои ладони к губам и поцеловала их. Я смотрел в ее глаза, такие прекрасные, любящие и зеленые, но не смог удержать этот миг, спокойствие было нам еще недоступно. Она содрогнулась и вскрикнула:

– Боже мой, как он падал!

И я торопливо поднялся за бутылкой божоле, стоявшей на полке.

Мы снова обсуждали падение, сколько времени оно длилось: две секунды или три. И тут же перешли к второстепенным деталям: полиция; врачи «скорой помощи», один из которых оказался недостаточно силен, чтобы нести на носилках Грина, и ему помог Лейси; эвакуатор, отбуксировавший машину Логана. Попытались представить, как пустую машину доставят к его дому в Оксфорде, где ждут его жена и двое детей. Но это было уже невыносимо, и мы вернулись к своим собственным историям. Нити повествования были усеяны узлами, клубками ужаса, на которые мы с первого раза не решались взглянуть, а лишь касались их и спешили дальше, а потом возвращались. Мы были узниками в камере, мы бились с разбегу о стены и раздвигали их лбами. Постепенно тюрьма стала шире.

Странно вспомнить, но с Джемом Перри мы чувствовали себя спокойней. Кларисса сказала, как он подошел к ней, назвал свое имя, а она назвала свое. Рук они не пожали. Потом он развернулся и пошел за мной по склону. Я обратил историю с молитвой в анекдот, Кларисса рассмеялась. Она переплела свои пальцы с моими и сжала их. Я хотел сказать, что люблю ее, но

⁷ Джон Милтон. Потерянный рай. Книга первая. Перевод Арк. Штейнберга.

неожиданно между нами возникла фигура Логана, сидящего прямо и неподвижно. Мне пришлось описать его. Воспоминание было гораздо ужаснее, чем первое впечатление. Испытанный тогда шок, вероятно, приглушил эмоции. Описывая, как все части его лица и тела оказались не на своих местах, я прервался, чтобы объяснить разницу между «теперь» и «тогда», и как во сне иногда некая логика превращает невыносимое в обыденное, и как мне не хотелось говорить с Перри над останками сидящего на земле Логана. Даже во время этого разговора я чувствовал, что по-прежнему избегаю упоминать Логана и медлю с описанием, еще не в силах пропустить случившееся через себя... Мне захотелось рассказать Клариссе и об этом факте. Она терпеливо смотрела, как я раскручивал по спирали свои воспоминания, эмоции и ощущения. Не то чтобы я скверно формулировал – просто не успевал за собственными мыслями. Кларисса отодвинула стул, подошла и прижала мою голову к своей груди. Я умолк и закрыл глаза. Почуввав резкий запах ветра от ее свитера, я представил бескрайнее небо.

Потом мы снова сидели порознь, склонившись над столом, как увлеченные работой ремесленники – шлифуя зазубренные края воспоминаний, выковыывая слова из непроизносимого, связывая разрозненные впечатления в предложения, пока Кларисса не вернулась к самому падению, к моменту, когда Логан заскользил по веревке, замер на последний, драгоценный миг и оторвался. Она должна была к этому вернуться, именно этот образ выражал весь ее шок. Она повторила все сначала и еще раз процитировала строчку из «Потерянного рая». Призналась, что также надеялась на спасение, даже когда он пролетел уже половину пути. Ей пришли на ум ангелы – не мильтоновские строптивцы, низвергнутые с небес, а некие золотые фигуры, воплощения добра и справедливости, которые спустятся с облаков и подхватят падающего человека. В ту бредовую секунду ей казалось, что пред таким искушением, как падающий Логан, не устоит ни один ангел, но его смерть опровергла их существование. Я хотел спросить, так ли уж нужно это опровергать, но она сжала мне руку и с неожиданной мольбой, словно я собирался осуждать его, произнесла:

– Он был хорошим человеком. Мальчик остался в корзине, и Логан не выпустил веревку. У него тоже есть дети. Он был хорошим человеком.

В двадцать с небольшим, после заурядной операции, Кларисса не могла иметь детей. Она считала, что ее медицинскую карту перепутали с чужой, но доказать это было невозможно, длинное судебное разбирательство увязло в переносах и проволочках. Потихоньку Кларисса похоронила свое горе и построила жизнь так, чтобы дети всегда присутствовали в ней. Племянники, племянницы, крестники, дети соседей и старых друзей – все обожали ее. В нашем доме была отдельная комната, наполовину детская, наполовину подростковая берлога, где иногда жили дети знакомых. Друзья считали, что Кларисса добилась успеха и вполне счастлива, и большую часть времени это было правдой. Но иногда что-нибудь бредило старую рану. За пять лет до происшествия с шаром, на второй год нашего знакомства, ее близкая университетская подруга Марджори из-за редкой инфекции потеряла месячного младенца. Когда малютке было пять дней, Кларисса приезжала к ним в Манчестер и провела там неделю, помогая ухаживать.

Весть о смерти ребенка подкосила ее. Я никогда не видел, чтобы горе так выбивало из колеи. Страшнее оказались даже не смерть ребенка и утрата Марджори, которую она переживала как свою. Наружу вырвалась собственная скорбь по призрачному ребенку, которого несостоявшаяся любовь превратила в наполовину реального. Боль Марджори стала ее болью. Лишь через несколько дней защитная оболочка вернулась на место, и Кларисса сделала все, чтобы помочь подруге.

Та ситуация была экстремальной. А иной раз это незачатое дитя просто шевелилось какое-то время. В Джоне Логане она увидела человека, готового отдать жизнь, лишь бы не допустить страданий, подобных тем, какие испытала она. Тот мальчик не был его сыном, но у него тоже были дети, и он все понимал. Явленная Логаном любовь проткнула ее защитную

оболочку. Эта мольба в голосе: «Он был хорошим человеком...» – была обращена к ее прошлому, к ее призрачному ребенку, у которого она просила прощения.

Мысль о том, что Логан умер ни за что, была невыносима. Мальчик Гарри Гэдд, как выяснилось, не пострадал. Я выпустил веревку. Я способствовал гибели Джона Логана. Но даже испытывая тошноту от вернувшегося чувства вины, я уговаривал себя, что поступил правильно. В противном случае мы с Логаном разбились бы вместе и сегодня ночью Кларисса сидела бы одна. Позже мы узнали от полиции, что, пролетев тридцать километров к западу, мальчик благополучно приземлился. Осознав, что помощи ждать неоткуда, он позаботился о своем спасении. Страх, вызванный паникой деда, прошел, он взял себя в руки и сделал все, что надо. Дождавшись, когда шар пролетит над высоковольтными проводами, мальчик открыл клапан и плавно опустился на поле за деревней.

Кларисса притихла. Она сидела, вдавив подбородок в кулаки и уставившись в столешницу.

– Да, – произнес я наконец, – он хотел спасти этого ребенка.

Она задумчиво кивнула в подтверждение какой-то невысказанной мысли. Я выжидал, готовый отделаться от собственных чувств, чтобы только помочь ей разобраться со своими. Она почувствовала мой взгляд и подняла глаза.

– Это кое-что да значит, – печально выговорила она.

Я задумался. Мне никогда не нравился такой способ мышления. Логан умер бессмысленной смертью, и именно в этом была основная причина нашего шока. Зачастую хорошие люди принимают страдания и смерть не потому, что кто-то испытывает их хорошие качества, а именно потому, что не оказывается никого и ничего, чтобы испытать их. Никого, кроме нас. Я молчал слишком долго, и Кларисса неожиданно произнесла:

– Не беспокойся, Джо. Я не виню тебя. Я просто не знаю, какие мы должны сделать выводы.

– Мы же пытались помочь, но ничего не получилось.

Она улыбнулась и замотала головой. Я встал и, подойдя к ее стулу, обнял ее, по-отечески поцеловав макушку. Она, вздохнув, обхватила меня за талию и уткнулась лицом в рубашку.

– Какой же ты дурачок. Ты так рассудителен, что иногда совсем как ребенок...

Имела ли она в виду, что рассудительность означает невинность? Этого я так и не узнал, потому что ее пальцы заскользили по моим ягодицам к промежности. Одной рукой поглаживая мою мошонку, другой она расстегнула на мне ремень и задрала рубашку. Поцеловав в живот, она сказала:

– Я скажу тебе, чучело, какой мы должны сделать вывод. Мы вместе пережили нечто ужасное. С этим нужно смириться, и мы должны помочь друг другу. Значит, должны любить друг друга еще сильнее.

Действительно. Как я об этом не подумал? Почему сам не догадался? Нам нужна любовь. Я пытался сделать вид, что не замечаю ее руки, считая сексуальное влечение перед лицом смерти оскорбительным и богопротивным. К этому мы могли бы вернуться позже, когда все обсудим и проанализируем. Но Кларисса совершила переход к самой сути. Держась за руки, мы отправились в спальню. Она присела на край кровати, и я раздел ее. Пока я целовал ее шею, она притянула меня к себе.

– Мне все равно, что мы будем делать, – прошептала она. – Можем не делать ничего. Я просто хочу крепко тебя обнять.

Она забралась под одеяло и лежала, поджав ноги, пока я раздевался. Когда я нырнул к ней, она обвила мою шею руками и подставила лицо. Кларисса знала, что от таких приемов я таю. Ощущая наше единство, я чувствую, что обрел дом и благословение. И я знал, что она любит закрыть глаза, чтобы я целовал их, а потом – нос и щеки, будто она ребенок, которому желают спокойной ночи, и лишь потом я отыскивал ее губы.

Мы часто ругали себя за то, что просто теряем время на разговоры, сидя полностью одетыми, вместо того чтобы делать то же самое, лежа в постели обнаженными, лицом к лицу. Этим минутам, перед тем как заняться любовью, не подходит псевдоклинический термин «предварительные ласки». Мир вокруг нас становится уже и глубже, наши голоса тонут в тепле тел, диалог продолжают непредсказуемые ассоциации. Все превратилось в дыхание и прикосновение. В голове рождались какие-то простые фразы, которые я не произносил вслух, потому что, озвученные, они становятся банальностью – «Ну наконец-то», или «Еще раз», или «Да, вот оно». Как эпизод повторяющегося сна, эти выпавшие из времени бессознательные минуты стирались из памяти, пока не повторялись вновь. И каждый раз в эти моменты наши жизни возвращались к истокам и начинались заново. Мы безмолвно падали куда-то, мы лежали так близко, что соприкасались губами, оттягивали слияние и благодаря этой прелюдии оно захватывало нас целиком.

И вот наконец-то еще раз – в этом спасение. Тьма, продолжавшая полумрак спальни, была беспредельна и холодна, как сама смерть. Мы были точкой тепла в бесконечности. События дня переполняли нас, но мы избегали говорить о них. Я спросил:

- Как ты себя чувствуешь?
- Мне страшно, – ответила она. – Очень страшно.
- Глядя на тебя, не скажешь.
- Я чувствую, как внутри вся дрожу.

И вместо того чтобы двинуться по дорожке, которая снова приведет нас к Логану, мы стали перебирать вызывающие дрожь и озноб истории, и, как обычно в подобных разговорах, в основном это оказались детские воспоминания. Когда Клариссе было семь, она ездила в Уэльс на какое-то семейное торжество. Одна из ее кузин, пятилетняя девочка, исчезла дождливым утром и отсутствовала часов шесть. Приехали полицейские с двумя собаками-ищейками. Сельские жители прочесывали высокий папоротник, какое-то время над холмами парил вертолет. Уже в сумерках девочку нашли в каком-то сарае, где она спала, укрывшись мешковиной. Кларисса помнила торжество, устроенное тем вечером в арендованном фермерском доме. Ее дядя, отец той девочки, только проводил до двери последнего из полицейских. Он вернулся в комнату, спотыкаясь, и тяжело упал в кресло. Его ноги сильно тряслись, и дети с изумлением наблюдали, как тетя Клариссы опустилась перед ним на пол и начала успокаивающе массировать его бедра.

– Тогда я не связала этого с пропажей сестры. Это была просто еще одна из странностей, которые в детстве воспринимаешь абсолютно спокойно. Я думала, может, эти колени, пляшущие в брюках, и означают «пьянство».

Я вспомнил свое первое выступление: мне было одиннадцать лет, и я должен был играть на трубе. Я так нервничал, что у меня тряслись руки, поэтому я никак не мог удержать мундштук у губ, да и правильно сложить губы, чтобы выдать хоть звук, тоже не мог. Потому я засунул весь мундштук в рот, изо всех сил стиснул его зубами, а свою партию наполовину пропел, наполовину протрубил. В общей какофонии рождественского детского оркестра никто этого не заметил. Кларисса сказала:

- Ты до сих пор здорово изображаешь трубу в ванной.

От потрясений мы перешли к танцам (я их ненавижу, она любит), а от танцев к любви. Мы говорили друг другу слова, которые влюбленные никогда не устают говорить и слушать.

– Теперь, когда я вижу, что ты совсем свихнулся, я люблю тебя еще больше, – сказала она. – Рационалист неожиданно сходит с ума.

- И это только начало, – пообещал я. – Оставайтесь с нами.

Кларисса напомнила, как я повел себя после падения Логана, и это разрушило чары, но лишь на полминуты, не больше. Мы подвинулись ближе друг к другу и начали целоваться. То, что произошло сразу за этими поцелуями, усилилось всеми эмоциональными ссадинами, полу-

ченными во время примирения, будто тягостная, затянувшаяся на неделю ссора с угрозами и оскорблениями счастливо завершилась взаимным прощением. Нам было нечего прощать, кроме смерти, которую мы отпускали друг другу как грех, но это ощущение таяло с каждой новой волной чувств. Однако мы дорого заплатили за этот экстаз – мне приходилось отгонять от себя образ темного дома в Оксфорде, одинокого, будто стоящего в пустыне, где из окна на втором этаже двое детей смотрят на хмурых визитеров матери.

Потом мы заснули и, проснувшись через час, поняли, что проголодались. Придя в халатах на кухню и обшаривая холодильник, мы поняли, что нам нужна компания. Кларисса отправилась звонить. Эмоциональный комфорт, секс, родные стены, еда, вино и общество – мы хотели заново убедиться в целостности нашего мира. Через полчаса мы уже сидели в обществе наших друзей Тони и Анны Брюс и, пересказывая произошедшее, поглощали тайские кушанья, которые я заказал по телефону. Мы рассказывали, как это делает обычно семейная пара, – один нагнетает напряжение, второй пытается перебить, и первый то перекрикивает, то дает ему вставить слово. Случалось, мы начинали говорить одновременно, но, несмотря на все это, история выходила довольно складной: она обрела форму, и, кроме того, сейчас она рассказывалась в безопасном месте. Я видел, как постепенно на умных, сосредоточенных лицах наших друзей проступало уныние. Их шок был только тенью нашего, он больше походил на добровольную имитацию наших эмоций, и потому возникало искушение сгустить краски, перебросить веревку преувеличений через бездну, отделяющую реальность от ее анекдотического переложения. В последующие дни и недели мы с Клариссой неоднократно пересказывали нашу историю друзьям, коллегам и родственникам. Я поймал себя на том, что каждый раз использую одни и те же фразы, определения и в том же порядке. У меня получалось подробно излагать события, ничуть не переживая, даже не вспоминая их.

Тони и Анна ушли в час ночи. Проводив их, я вернулся и увидел, что Кларисса просматривает свои конспекты лекций. Действительно, ее отпуск закончился. Завтра понедельник, она начнет преподавать. Я прошел в кабинет и сверился с ежедневником – две встречи и статья, которую необходимо закончить к пяти. До какой-то степени мы были надежно защищены от этой катастрофы. Мы были вместе, у нас было много старых друзей да еще обязательства и увлеченность интересной работой. Стоя в свете настольной лампы, я смотрел на небрежно сложенные в стопку шесть писем, ожидающих ответа, и их вид внушал мне спокойствие.

Мы проговорили еще полчаса, но только потому, что идти до кровати уже не было сил. В два часа нам это удалось. Свет был погашен уже пять минут, когда телефонный звонок вырвал меня из дремоты.

Я уверен, что верно запомнил произнесенные им слова. Он сказал:

– Это Джо?

Я не ответил. К тому моменту я уже узнал этот голос. Он сказал:

– Я только хочу, чтобы ты знал: я понимаю, что ты чувствуешь. Я тоже это чувствую. Я люблю тебя.

Я повесил трубку.

– Кто это был? – пробормотала в подушку Кларисса.

Может быть, я слишком устал или я умышленно скрыл это, желая защитить ее, не знаю, но я совершил первую серьезную ошибку, когда повернулся на другой бок и сказал:

– Никто. Ошиблись номером. Спи.

4

Когда мы проснулись утром, события предыдущего дня еще звенели в воздухе над нашей кроватью и масса наших обязательств стала чем-то вроде бальзама на раны. Кларисса ушла в полдевятого на семинар пятикурсников по романтической поэзии. Она сходила на административное собрание факультета, пообедала с коллегой, проверила семестровые работы и еще час занималась со своей аспиранткой, которая писала работу о Ли Ханте. Она вернулась домой в шесть, когда меня еще не было. Сделала несколько звонков, приняла душ и отправилась ужинать со своим братом Люком, пятнадцатилетний брак которого разваливался.

Я с утра принял душ. С термосом кофе прошел в свой кабинет и четверть часа раздумывал, не предаться ли мне искушениям, подстерегающим внештатника, – газетам, телефону и мечтам. У меня было полно поводов поразмыслить, глядя в потолок. Но я взял себя в руки и заставил дописать статью для американского журнала о телескопе «Хаббл».

Этот проект интересовал меня уже несколько лет. Он воплощал в себе старомодный героизм и величие, не служил военным целям, не приносил быстрой прибыли, им двигала простая и благородная потребность – больше знать и понимать. Когда выяснилось, что главное трехметровое зеркало на тысячные доли миллиметра тоньше, чем нужно, общество не разочаровалось. Кто-то ликовал, кто-то злорадствовал, восторги и хохот до колик сотрясали планету. Еще со времен гибели «Титаника» мы беспощадны к технарям, с цинизмом воспринимая их экстравагантные амбиции. И вот теперь в космосе красовалась наша самая большая игрушка – говорят, высотой с четырехэтажный дом, – которая должна была донести до сетчатки наших глаз чудо из чудес, образы рождения Вселенной, начало всех начал. А она не сработала, и не из-за алгоритмических загадок программного обеспечения, а из-за понятной всем ошибки – недосмотра за старой доброй шлифовкой-полировкой. «Хаббл» был краеугольным камнем всех телевизионных ток-шоу, он рифмовался с «trouble» и «rubble»⁸ и подтверждал, что Америка вошла в фазу промышленного упадка.

Проект «Хаббл» сам по себе был грандиозным, но спасательная операция стала вершиной технологической мысли. Работы в открытом космосе велись сотни часов; с нечеловеческой точностью по кромке негодной линзы были установлены десять корректирующих зеркал, и за всем этим снизу, из Центра, наблюдал прямо-таки вагнеровский оркестр ученых и компьютерщиков. Технически это было сложнее, чем высадить человека на Луну. Итак, ошибка была исправлена, изображение стало четким и ярким, мир позабыл свои насмешки и поражался – целый день, – а потом отправился по делам.

Я работал без перерыва два с половиной часа. Но какое-то беспокойство, некий физический дискомфорт, которого я не мог сформулировать, мешал мне в то утро сосредоточиться на статье. Ведь существуют ошибки, которые не исправить и тысяче космонавтов. Моя вчерашняя, например. Но что именно я сделал или чего не сделал? Если и была вина, то где она началась? С момента, когда я схватился за веревку, или когда выпустил ее, или со сцены возле тела, или с ночного телефонного звонка? Тревога стягивала мою кожу и просачивалась сквозь нее. Ощущение такое, будто давно не мылся. Но, оторвавшись от статьи и заново обдумав происшедшее, я не нашел в нем своей вины. Тряхнув головой, я принялся печатать быстрее. Не знаю, как мне удалось отогнать от себя мысли о вчерашнем ночном звонке. Я ухитрился приписать его к остальным переживаниям предыдущего дня. Наверное, я все еще был в шоке и пытался отвлечься разнообразными делами.

Я закончил статью, исправил ошибки, распечатал и отправил по факсу в Нью-Йорк за пять часов до окончательного срока. Позвонил в оксфордский полицейский участок и после

⁸ Trouble (англ.) – неприятность, rubble (англ.) – булыжник.

того, как меня поочередно соединяли с тремя отделами, узнал, что по факту смерти Джона Логана начато расследование, что судебное заседание, скорее всего, состоится в течение шести недель и что все мы должны будем на нем присутствовать.

Я отправился на такси в Сохо, где у меня была назначена встреча с радиопродюсером. Он провел меня в свой кабинет и предложил вести программу об овощах из супермаркета. Я ответил, что это не мой профиль. И тут этот продюсер, его звали Эрик, порядком удивил меня: он вскочил и разразился пламенной речью. Он вещал, что круглогодичный спрос на разрекламированную экзотику, клубнику и прочее разрушает окружающую среду и подрывает экономику африканских стран. Заметив, что это не моя область, я назвал нескольких людей, к которым он может обратиться. А потом, несмотря на то что мы едва знакомы, а может, именно поэтому, я с не меньшей страстью рассказал ему свою историю. Я ничего не мог с собой поделать. Я должен был кому-то все рассказать. Эрик терпеливо слушал меня, в нужные моменты ахал и качал головой, но глядел при этом как на заразного больного, на разносчика нового вируса неудачи, проникшего к нему в офис. И я мог бы перевести разговор на другую тему или превратить историю в анекдот, но упорно продолжал, не в силах остановиться. Я рассказывал ее самому себе, и аквариумная рыбка сгидилась бы мне в собеседники, не то что продюсер. Когда я закончил, Эрик поспешно попрощался: у него еще одна встреча, он позвонит мне, когда появятся другие идеи, – и, выйдя на грязную Мирд-стрит, я почувствовал себя прокаженным. Безымянное ощущение вернулось, на этот раз в форме покалывания в затылке и посасывания под ложечкой, и превратилось в третий за день ложный позыв кишечника.

После полудня я сидел в читальном зале Лондонской библиотеки, выискивая не столь известных современников Дарвина. Я собирался писать о смерти анекдота и сюжетного повествования в науке и предполагал, что дарвиновское поколение было последним, позволявшим себе роскошь рассказывать занимательные истории в научных статьях. Я обнаружил письмо в «Нейчур», датированное 1904 годом, одно из длительной переписки о самосознании у животных, в частности о том, почему у высших млекопитающих – таких, как собаки, – можно выявить случаи осознанного поведения. У автора письма был близкий друг, чья собака имела обыкновение лежать в определенном, весьма удобном кресле рядом с камином. И однажды, когда этот господин вместе с другом вернулся после обеда в библиотеку, чтобы выпить по стаканчику портвейна, он стал свидетелем интересного случая. Хозяин согнал собаку с кресла и сам сел на ее место. После пары минут тихих размышлений у камина она подошла к двери и заскулила, чтобы ее выпустили. Когда хозяин нехотя поднялся и направился к двери, собака стрелой метнулась через комнату и заняла излюбленное место. Следующие несколько секунд на ее морде было выражение искреннего торжества.

Автор утверждал, что, вероятно, у собаки был план, некое представление о будущем, на которое она рассчитывала повлиять путем осознанного обмана. Удовольствие, полученное собакой, когда трюк удался, якобы доказывает наличие памяти. Больше всего мне понравилось, как автору удалось использовать обаяние истории, чтобы завуалировать основной вывод. По любым стандартам научного исследования эта очаровательная история является чепухой. Она не доказывает ни одной теории, не определяет терминов, разве что один, бессмысленный и смехотворный, – антропоморфизм. Не представляло труда представить события таким образом, что собака оказалась бы подобием автомата – существом, обреченным жить в вечном настоящем: согнанная с любимого кресла, она заняла следующее наиболее удобное место – возле огня, где и наслаждалась теплом (а не строила планы) до тех пор, пока не почувствовала необходимости помочиться. Тогда она подошла к двери, как и была приучена, но, заметив, что любимое место опять свободно, вернулась, позабыв на минуту призывы мочевого пузыря, а выражение триумфа – лишь проявление мгновенного удовлетворения, а быть может, лишь воображение наблюдателя.

Лично я удобно расположился в широком кожаном кресле с мягкими подлокотниками. Со своего места я видел еще троих читателей, у всех на коленях лежали книги или журналы, и все трое спали. Пронзительный шум транспорта – даже мотоциклов – за окном, на Сент-Джеймс-сквер, действовал усыпляюще, вызывал нечто вроде дремоты, нагоняемой беспорядочным передвижением других людей. Здесь, внутри, слышалось бормотание воды в потайных древних трубах, и чуть ближе, за стеллажом с журналами, скрипели половицы, словно кто-то делает пару шагов, затем остановится на минутку-другую и снова шагает. Позже я осознал, что этот звук незаметно беспокоил меня уже полчаса. Я задумался, как вежливо попросить этого человека не скрипеть или, может, предложить ему взять стопку журналов и тихо присесть с ними. Мой мучитель зашевелился, четыре ленивых скрипучих шажка – и тишина. Я попытался снова сосредоточиться на авторе письма и умственных способностях собак, но уже потерял нить размышлений. Когда кто-то двинулся через комнату, я постарался не взглянуть на него поверх страницы, хотя уже не понимал, что читаю. Наконец я сдался, но все, что увидел, – задник белого ботинка и что-то красное, потом повернулись и со вздохом замерли вращающиеся двери, ведущие из читального зала на лестницу.

Теперь, когда неугомонный похититель времени исчез, мое раздражение вылилось на местное руководство. Здание библиотеки пользовалось дурной славой из-за вечного шума и жужжащих флуоресцентных ламп на стеллажах, которые так и не удалось починить. Возможно, я чувствовал бы себя лучше в библиотеке Уэлкам. Собрание научных трудов здесь просто смехотворно. Руководство делает вид, что для постижения мира вполне достаточно художественной и исторической литературы, а также биографий. Неужели невежды от науки, заправляющие этим миром и беззастенчиво называющие себя образованными людьми, действительно считают, что беллетристика является важнейшим интеллектуальным достижением нашей цивилизации?

Этого пафосного монолога хватило, должно быть, минуты на две. Я так заполнил им все вокруг, что потерял себя из виду. Меня посетили такая уверенность в себе и такое самосознание, какие и не снились собаке, описанной в том письме. Меня, конечно же, раздражали не скрипучие половицы и не библиотечное руководство, а собственное эмоциональное состояние, с которым мне еще предстояло разбираться. Откинувшись на спинку кресла, я принялся собирать свои заметки. В тот момент я еще не осознал подсказки белого ботинка и красного цвета. Я взглянул на страницу, лежавшую на коленях. Последнее, что я написал до того, как отвлекся, были слова «намеренно, намеренность, попытка установить контроль над будущим». Я писал это, подразумевая собаку, но, перечитав, забеспокоился. Я не мог сформулировать свои ощущения. Грязный, инфицированный, сумасшедший – в прямом смысле и с точки зрения морали. Неверно, что мысли не существуют без слов. У меня были и мысли, и чувства, и ощущения, и я пытался подобрать для них слова. Если вина относилась к прошлому, то чем будут определяться отношения с будущим? Намерением? Нет, оно не властно над будущим. Предчувствиями. Смутным беспокойством, неприязнью к будущему. Вина и предчувствия провели границу между прошлым и будущим, вертятся в настоящем – единственной временной точке, которую можно обозначить. И это не именно страх. Страх слишком сфокусирован, у него должен быть объект. «Ужас» – слишком сильное слово. Боязнь будущего. И дурные предчувствия. Да, именно. Это были дурные предчувствия.

Трое спящих напротив меня не шевелились. Движение вращающихся дверей было словно последнее колебание маятника, и не осталось ничего, кроме микроскопического отзвука, почти вымысла. Кто этот только что вышедший человек? С чего такая поспешность? Я поднялся. Итак, значит, дурные предчувствия. Именно это я ощущал весь день. Очень просто, еще одна форма страха. Страх перед последствиями. Весь день я боялся. Неужели я настолько глуп, что не отличил страх с самого начала? Разве это не простейшая эмоция, такая же как недовольство, удивление, гнев и восторг, как учит нас знаменитая работа Экмана о пересече-

нии культур? Разве страх и умение распознавать его у других не характеризуют нервную активность мозжечковой миндалины, глубоко погруженной в старую, млекопитающую часть нашего мозга, откуда исходят все его моментальные реакции? Но моя собственная реакция не была моментальной. Мой страх спрятался под маской. Осквернение, замешательство, бормотание. Я боялся своего страха, потому что еще не знал его причины. Меня пугали изменения, которые произойдут со мной и через меня. И я не мог отвести глаз от дверей.

Вероятно, это была иллюзия, вызванная инерцией зрения, или случившаяся на уровне нервной системы задержка восприятия: мне казалось, что я сижу в том удобном кожаном кресле и смотрю на дверь, хотя я уже шел к ней. Перешагивая через две ступеньки широкой, покрытой красным ковром лестницы, я быстро обогнул колонну на лестничной площадке, в три больших шага преодолел последний пролет и ворвался в канцелярскую, докомпьютерную тишину отдела заказов и каталогов. Увернулся от знакомых читателей, миновал книгу отзывов и предложений и напоминавшую о раздевалке в школе для мальчиков свалку из рюкзаков и пальто и вышел через главную дверь на улицу. Сент-Джеймс-сквер была забита автомобилями, пешеходов не было видно. Я высматривал белую обувь, кроссовки с красными шнурками. Я проскользнул между терпеливо урчащих автомобилей, стоявших в пробке. Я знал, какое место для наблюдения за библиотечными дверями выбрал бы сам: на северо-восточном углу, через дорогу от старого ливийского посольства. По дороге взглянул налево, вдоль Дьюк-оф-Йорк-стрит. Тротуары были пусты, проезжая часть заполнена машинами. Машины нынче стали членами нашего общества. Добравшись до перекрестка, я встал у ограды. Поблизости никого не было, даже пьяниц в парке. Я постоял немножко, оглядываясь и переводя дыхание. Это было именно то место, где выстрелом из окна через дорогу была убита каким-то ливийцем Ивон Флетчер, служившая в полиции. У моих ног лежал перевязанный шерстяной ниткой букетик ноготков. Такой букетик мог бы принести ребенок. Баночка из-под джема, в которой они стояли, валялась в стороне, в ней еще осталась вода. Продолжая оглядываться, я нагнулся и поставил цветы в банку. Придвигая банку поближе к забору, где ее, скорее всего, никто не пнет, я не мог отделаться от ощущения, что этот поступок принесет мне удачу или даже защитит от чего-то и что на таких умиротворяющих, дающих надежду поступках, сокрушающих непредсказуемые силы дикости и безумия, и строятся целые религии, возводятся целые философские системы.

Потом я вернулся в читальный зал.

5

В тот день у меня была еще одна встреча – я входил в жюри, присуждавшее премии научным книгам, так что, когда я вернулся домой, Кларисса уже ушла ужинать со своим братом. Мне нужно было поговорить с ней. Усилия, затраченные на то, чтобы три часа подряд изобретать здорового и объективного человека, порядком измотали меня. Наша уютная, почти изысканная квартира с ее привычной обстановкой показалась мне вдруг тесной и пыльной. Я смешал джин с тоником и выпил, прослушивая сообщения на автоответчике. Последнее сообщение состояло из тягостного, без единого вздоха молчания, завершившегося стуком повешенной трубки. Мне хотелось поговорить с Клариссой о Перри, я должен был рассказать ей о ночном звонке, о том, как он следил за мной в библиотеке, о моем дискомфорте и дурных предчувствиях. Я даже подумал пойти и разыскать ее в ресторане, но представил, как в этот момент ее братец-прелюбодей заводит нескончаемый григорианский хорал о тяготах развода – болезненное самооправдание, воспевающее превращение любви в ненависть или безразличие. Кларисса, которой всегда нравилась его жена, явно будет от всего этого в шоке.

Чтобы успокоиться, я обратился к вечернему собранию страданий – к теленовостям. Сегодня показали массовое захоронение, обнаруженное в лесу в Центральной Боснии, больного раком министра и его любовное гнездышко и второй день суда над убийцей. Я находил какое-то утешение в знакомом формате: ритмы военной музыки, ровная, деловая интонация ведущего, успокаивающая правда о том, что все несчастья относительно; но вот наконец последний наркотик – прогноз погоды. Вернувшись на кухню, я смешал второй коктейль и сел с ним за кухонный стол. Если Перри выслеживал меня целый день, значит, ему известно, где я живу. Если нет, значит, мое душевное состояние весьма нестабильно. Но за свою психику я абсолютно спокоен, и он следит, и я должен как следует это обдумать. Его ночной звонок еще можно списать на стресс и пьянство в одиночестве, но никак не сегодняшнюю слежку. А я знаю, что он следил за мной, потому что видел его белую кроссовку с красным шнурком. Если только – а привычка сомневаться лишний раз доказывает мою нормальность, – если красный шнурок не привиделся мне или не был зрительным дополнением. Ковер в библиотеке все же был красным. Но я видел цвет, вплетающийся в мелькание кроссовки. И я чувствовал его присутствие за спиной даже до того, как его увидел. Я признаю, что интуиция не доказательство. Но это был он. Как большинство людей, не сталкивавшихся с опасностью, я сразу же вообразил худшее. Какой я дал ему повод для убийства? Может, он думает, что я посмеялся над его верой? Вероятно, он звонил мне еще раз.

Сняв трубку радиотелефона, я набрал номер услуги «Последний входящий звонок». Компьютерный женский голос назвал незнакомый лондонский номер. Я набрал его, послушал и покачал головой. Как бы разумны ни были мои мысли, все же подтверждения я не ожидал. Автоответчик Перри произнес: «Пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала. Да пребудет с вами Господь». Это был его голос, его слова. Его вера была так сильна, что проникала в мелководье автоответчика и в изгибы его бесцветной речи. Что он имел в виду, когда говорил, что чувствует то же самое? Чего он хотел?

Я огляделся в поисках джина, но решил остановиться. Проблема заключалась в том, как убить время до возвращения Клариссы. Я знал, если сейчас не придумать разумного занятия, то мне останется лишь размышлять да напиваться. Видеть друзей не хотелось, желания развлекаться я не испытывал, я даже не был голоден. Подобное опустошение было мне знакомо, справиться с ним всегда помогала работа. Я пошел в кабинет, включил свет, компьютер и достал свои библиотечные записи. Была четверть девятого. За три часа я мог бы закончить статью о сюжетном повествовании в научных работах. В общих чертах я уже наметил концепцию – не совсем такую, в которую верил сам, зато вокруг нее легко выстраивалась статья. Предлагать

гипотезы, разбирать свидетельства, обдумывать возможные возражения и в заключение отметить их. Такой же, по сути, сюжетный ход, возможно немного избитый, но исправно служивший тысяче журналистов до меня.

Работа стала для меня неким бегством, и я признавался себе в этом. Ответов на вопросы не было, и раздумья не продвинули бы меня на этом пути. Я предполагал, что Кларисса вернется не раньше двенадцати, поэтому запретил себе все серьезные и необоснованные размышления. Через двадцать минут я уже достиг желаемого состояния: бесконечная, с высокими стенами тюрьма направленной мысли. Не всякий раз мне удавалось попасть в нее, и в тот вечер я был благодарен судьбе. Мне не нужно защищаться от плавающих обломков кораблекрушения, обрывков недавних воспоминаний, ошметков несделанной работы или призрачных останков сексуального желания. Берег мой был чист. Я не выманивал себя из кресла обещаниями кофе, и, несмотря на выпитый тоник, мне не хотелось в туалет.

Именно дилетантская культура девятнадцатого века дала миру ученых, рассказывающих анекдоты. Всех этих джентльменов, не сделавших карьеры, священников, которым некуда было девать время. Сам Дарвин до путешествия на «Бигле» мечтал о жизни в деревне, где мог бы потихоньку предаваться своей страсти коллекционера, и, даже когда гений и случай взяли его за горло, его дом в Дауни напоминал скорее приют, нежели лабораторию. Из всех литературных жанров тогда доминировал роман, обширное и пространное повествование о судьбах не только отдельных людей, но и целых обществ, посвященное самым популярным темам того времени. Большинство образованных людей читали романы своих современников. Рассказывать истории было типично для девятнадцатого века, это было у всех в крови.

А затем случились два изменения. Наука стала более сложной, и ею занялись профессионалы. Она переместилась в университеты, притчи проповедников уступили место абстрактным теориям, прекрасно существовавшим и без экспериментальной поддержки и имевшим собственную формальную эстетику. Тогда же в литературе и других видах искусства новоиспеченный модернизм провозгласил торжество формальных структурных качеств, внутренних взаимосвязей и самоосознания. Священнослужители оберегали храмы этого непростого искусства от посягательств обыкновенного человека.

Подобное случилось и в науке. Например, что касается физики, небольшая кучка посвященных в Европе и Америке приняла и одобрила эйнштейновскую общую теорию относительности задолго до ее подтверждения экспериментами. Теория, предложенная Эйнштейном человечеству в 1915–1916 годах, вносила предположение, в некотором смысле оскорбительное для общественного мнения, что гравитация – всего лишь эффект, вызванный искривлением пространственно-временного континуума, созданным материей и энергией. Теория предсказывала, что свет преломляется гравитационным полем солнца. В 1914 году в Крыму уже находилась экспедиция, готовая подтвердить или опровергнуть это, наблюдая за солнечным затмением, но началась война. В 1919-м была снаряжена другая экспедиция на два отдаленных острова в Атлантическом океане. Подтверждение облетело весь мир, но на неточные или неудобные данные смотрели сквозь пальцы, желая поскорее прижать к груди теорию. Снаряжались новые экспедиции для наблюдения затмений и проверки предсказаний Эйнштейна: в 1922 году в Австралию, в 1929-м на Суматру, в 1936-м в СССР и в 1947-м в Бразилию. И только когда развитие радиоастрономии в пятидесятые годы представило неопровержимые, экспериментально подтвержденные доказательства, стало ясно, что, по существу, все эти годы усилий были не нужны. Теория начиная с двадцатых годов уже была внесена в учебники. Ее внутренняя мощь была столь велика, а сама она столь прекрасна, что не покориться ей было невозможно.

Итак, изгибы сюжета уступили место эстетике формы как в искусстве, так и в науке. Я печатал до вечера. Я посвятил слишком много времени Эйнштейну и теперь подбирал примеры других теорий, принятых по причине их изящества. Чем меньше я был уверен в своем

предположении, тем быстрее печатал. Я нашел своего рода обратный пример в собственном прошлом – квантовая электродинамика. В те дни существовало множество экспериментальных подтверждений целого набора идей о свете и электронах, но собственно теория, особенно в том виде, в котором предложил ее Дирак, очень медленно завоевывала общее признание. Она была противоречивой и кривобокой. А проще говоря, эта теория была непривлекательной, неэлегантной, ее мелодия резала слух. Признание буксовало на почве ее внешнего уродства.

Я проработал три часа и написал две тысячи слов. Можно было расписать еще и третий пример, но мои силы были на исходе. Распечатав страницы и разложив их на коленях, я взглянул и изумился, как такие ничтожные аргументы, настолько притянутые примеры смогли долго удерживать мое внимание. Контраргументы били ключом между аккуратными строчками текста. Чем я мог доказать, что романы Диккенса, Скотта, Тrolлопа, Теккерея и других повлияли хоть на одну запятую научных идей того времени? Более того, мои примеры были неправдоподобно перекошены в одну сторону. Я сравнивал легковесные науки девятнадцатого века (лукавая собака в библиотеке) с настоящими науками века двадцатого. В анналах викторианской физики и химии существовало бесконечное множество блестящих теорий, в которых не найти ни толики склонности к сюжетному повествованию. И какими в действительности были типичные продукты умственной деятельности ученых и псевдоученых двадцатого века? Антропология, психоанализ – буйство вымысла. Используя лучшие методы повествования, а также все уловки священников, Фрейд предъявил претензии к достоверности науки, хотя и не обвинил в фальсификации. А как насчет бихевиористов и социологов двадцатых годов двадцатого века? Словно армия Бальзаков в белых халатах, они взяли приступом университетские факультеты и лаборатории.

Я соединил двенадцать страниц скрепкой и взвесил их на ладони. Все, что я написал, не было правдой. Как и не было попыткой установить правду, не было наукой. Это была журналистика, лишь журналистика, высшим критерием которой является читабельность. Я помахал страницами, пытаюсь найти еще какое-нибудь утешение. Мне удалось с пользой отвлечься, из контраргументов можно создать отдельную связную статью (двадцатый век обнаружил результаты сюжетного повествования в научной речи и т. д.), это первый набросок, который я перепису через неделю-другую. Я бросил страницы на стол, и, когда они приземлились, второй раз за день я услышал, как скрипнули за моей спиной половицы. Там кто-то был.

Примитивная, так называемая симпатическая нервная система – дивная штука, которую мы делим со всеми другими видами, выжившими благодаря умению быстро реагировать на перемены, становиться сильнее и изворотливее в драке или быстрее в бегстве. Эволюция добила нас этих умений. Нервные окончания, скрытые в тканях сердца, вырабатывают свой норадреналин, и сердце, получив толчок, пульсирует быстрее. Больше кислорода, больше глюкозы, больше энергии, быстрее мыслительный процесс, сильнее конечности. Эта система, сформировавшаяся в нашем далеком прошлом, так стара, что ее операции никогда не проникнут в сознание. Времени не хватает, и эффективности не прибавится. Мы получаем лишь результат. Одновременно с толчком в сердце осознается угроза; пока участки коры головного мозга, отвечающие за слух и зрение, сортируют и оценивают информацию, поступившую через глаза или уши, сильнодействующие капельки уже каплют.

Мое сердце впервые угрожающе стукнуло, прежде чем я начал оборачиваться, вставать с кресла и поднимать руки, готовый защищаться, а может, и атаковать. Мне кажется, что к современному человеку, не знающему других хищников, кроме самого себя, со всеми его игрушками, умными концепциями и удобными комнатами, ничего не стоит подкрасться. Белки и дрозды могут веселиться, глядя на нас сверху вниз.

Обернувшись, я увидел, как навстречу, выставив перед собой руки, как лунатик из мультфильма, быстро идет Кларисса, и кто знает, за счет какого вмешательства в работу нервных центров мне удалось правдоподобно трансформировать примитивный защитный жест в неж-

ный знак предложения объятия и почувствовать, когда ее руки обвили мою шею, прилив любви, на самом деле неотделимый от облегчения.

– Ох, Джо, – сказала она, – я так скучала весь день, и я так тебя люблю. Я провела с Люком такой кошмарный вечер. Я очень тебя люблю.

И я очень ее любил. Сколько бы я ни думал о Клариссе, вспоминая или воображая, представляя ее, ощущения и звуки, связанные с ней, но ток любви, пробежавший меж нами почти на животном уровне, всегда оставлял, наряду с ощущением близости, привкус неожиданности. Возможно, такая амнезия и полезна – человек, не способный ни на минуту выбросить из головы и из сердца того, кого любит, обречен на поражение в битве за выживание и не оставляет после себя генетических следов. Мы стояли посреди кабинета, Кларисса и я, на желтом ромбе в центре бухарского ковра, целуясь и обнимаясь, и между да и сквозь поцелуи я услышал первые фрагменты истории безрассудства ее брата. Люк бросил свою милую, очаровательную жену и прелестных девочек-близняшек, а также дом в Ислингтоне в стиле эпохи королевы Анны ради того, чтобы жить с актрисой, с которой познакомился три месяца назад. Это явно пример более сильной амнезии. Поедая запеченные устрицы, он сказал, что подумывает оставить работу и написать пьесу, скорее даже монолог, спектакль для одной, той самой актрисы, и его, возможно, удастся поставить в зале над парикмахерской на Кенсал-Грин.

– Пока мы не попали в рай... – начал я, а Кларисса закончила:

– ...дорогой Кенсал-Грин?

– Беспечная отвага, – сказал я. – Он, видно, живет в состоянии вечной эрекции.

– Отвага все обгадить! – Она резко выдохнула, и меня обдало ее возмущением. – Актриса! Он вечно впадает в банальности!

На мгновение я стал ее братом. В благодарность она снова притянула меня к себе и поцеловала.

– Джо, я хотела тебя весь день. После вчерашнего и после прошлой ночи...

Продолжая обниматься, мы двинулись из кабинета в спальню. Пока Кларисса сообщала мне новые подробности о разрушенном семейном очаге, а я пересказывал свеженаписанную статью, мы приготовили все для ночного путешествия в секс и сон. В тот вечер я уже немного прошел по этому пути, когда, вернувшись домой, испытывал лишь одно желание – поговорить с Клариссой о Перри. Работа набросила на меня вуаль абстрактного удовлетворения, а ее возвращение домой, несмотря на грустную историю Люка, полностью восстановило меня. Я больше ничего не боялся. Разве было бы правильно именно в тот момент, когда, как и накануне ночью, мы лежали лицом к лицу, портить наше счастье рассказом о телефонном звонке Перри? Придавленный вчерашними впечатлениями, мог ли я разрушить нашу нежность капризными подозрениями, что за мной следят? Свет приглушен, а вскоре и вовсе будет выключен. Призрак Джона Логана все еще витал в комнате, но уже не пугал нас. Перри подождет до завтра. Вся срочность куда-то исчезла. С закрытыми глазами я исследовал двойную темноту красивых губ Клариссы. Она игриво куснула мой кулак. Бывают моменты, когда утомление служит лучшим возбуждающим средством, отгоняющим посторонние мысли, дарующим отяжелевшим конечностям медленные сладострастные движения, подстегивающим щедрость, понимание, беспредельное самоотречение. Мы выпали из своей полной забот жизни, как птенцы из гнезда.

Телефон в темноте рядом с нашей кроватью не подавал признаков жизни. Много часов назад я выдернул шнур из розетки.

⁹ Г. К. Честертон, стихотворение «The Rolling Road».

6

В нашем веке было время, когда корабли, белые океанские лайнеры, как, например, те, что роскошно рассекали волны Атлантики между Лондоном и Нью-Йорком, вдохновляли на создание новых форм местной архитектуры. Нечто напоминающее «Куин Мэри» налетело в двадцатые годы на рифы Мейда-Вейл, от этого теперь остался лишь капитанский мостик – наш многоквартирный дом. Он белеет, как ободранный ствол среди обычных деревьев. У него закругленные углы, иллюминаторы в туалетах и особенное освещение на спиралях обмелевших лестничных колодцев. Низкие, продолговатые окна в стальных рамах противостоят шквалам городской жизни. На полу – дубовый паркет, способный выдержать сколь угодно щеголеватых пар, одновременно отбивающих чечетку.

Две квартиры на самом верху – получше других: там несколько окон в потолке и железная лесенка в полтора пролета, ведущая на плоскую крышу. Наши соседи – преуспевающий архитектор и его приятель, который следит за домом, – устроили на своей территории изысканный сад, где клематисы аккуратно обвивают жерди и суровые острые листья пробиваются между больших гладких речных камней, в японском стиле разложенных по черным деревянным ящикам.

В первый безумный месяц после переезда наши с Клариссой скромные декораторские способности и потребности в обустройстве гнездышка исчерпались еще в квартире; на нашей части крыши не было ничего, кроме пластикового стола с четырьмя стульями, намертво прикрученными на случай сильного ветра. Здесь можно было сидеть среди телевизионных антенн и спутниковых тарелок – покатаая крыша под ногами, морщинистая и пыльная, как слоновья шкура, – и смотреть на зелень Гайд-парка под монотонный шум лондонского транспорта. С противоположной стороны стола открывался великолепный вид на ухоженную соседскую святыню, а дальше тянулись сумрачные крыши бесконечных северных пригородов. Здесь я и устроился в семь часов на следующее утро. Оставив Клариссу спать дальше, я взял с собой кофе, газету и отпечатанную вчера статью.

Но вместо того чтобы читать свой или чужие опусы, я задумался о Джоне Логане и о том, как мы его убили. Вчера события того дня будто померкли. А сегодняшнее яркое солнце бросило свет на всю картину и оживило ее. Разглядывая свои царапины, я снова ощущал в руках веревку. Я занялся подсчетами. Если бы Гэдд оставался в корзине со своим внуком, если бы все остальные не выпускали веревок и из расчета, что каждый из нас весил не менее шестидесяти пяти килограммов, нашего общего веса в триста двадцать пять килограммов наверняка хватило бы, чтобы удержать корзину на земле. Если бы кто-то из нас первым не выпустил веревку, остальные наверняка остались бы на своих местах. Но кто же был первым? Не я. Не я. Я даже произнес это вслух. Вспомнил стремительно падающую фигуру и то, как воздушный шар внезапно подбросило вверх. Однако я не мог сказать, прямо передо мной пролетела эта фигура или, быть может, справа или слева. Если бы я мог это вспомнить, я смог бы назвать человека.

Можно ли осуждать его? Пока я пил кофе, внизу час пик начал свое медленное крещендо. Трудно было найти ответы на все вопросы. Фразы, банальные и разумные, приходили мне на ум, но ничего не объясняли. С одной стороны, первый камешек в оползне, а с другой – самовольный выход из строя. Причина, а не морально ответственное лицо. Стрелка весов колеблется от альтруизма до эгоизма. Была ли то паника или простой расчет? Действительно ли мы убили его или просто отказались умереть вместе с ним? Но если бы мы были с ним, остались с ним – никто бы не умер.

Другой волновавший меня вопрос – должен ли я навестить миссис Логан и рассказать ей, как все произошло. Она должна узнать от очевидца, что ее муж был героем. Я представил, как мы с ней сидим на деревянных табуретках друг напротив друга. Она закутана в черное, фарсо-

вый вдовий траур, мы находимся в тюремной камере с зарешеченным окном. Двое ребяташек жмутся к ее ногам, не решаясь поднять на меня глаза. Моя камера, моя вина? Этот образ пришел ко мне с полузабытого викторианского полотна, сюжетной картины с подписью «Когда в последний раз ты видел отца?». «Сюжет» – от этого слова у меня заныло под ложечкой. Что за чушь написал я прошлой ночью! Разве возможно рассказать миссис Логан о жертве ее мужа, не привлекая внимания к нашей собственной трусости? Или сглупил он сам? Он был героем, а пославший его на смерть – слабаком. Или мы все уцелели, а он один оказался болваном, не сумевшим сложить два и два.

Я так запутался во всем этом, что не заметил Клариссу, пока она не села за стол напротив меня. Улыбнувшись, она послала мне воздушный поцелуй. Она грела руки о чашку с кофе.

– Ты об этом думаешь?

Я кивнул. Я должен был рассказать ей, прежде чем ее доброта и наша любовь сделают меня лучше.

– Помнишь, в тот день, когда это случилось, мы уже заснули и вдруг зазвонил телефон.

– А, ошиблись номером.

– Звонил тот парень, с хвостиком. Тот, который все хотел, чтобы я помолился. Джек Перри.

Она нахмурилась.

– Почему же ты не сказал? Что он хотел?

Я выпалил:

– Он сказал, что любит меня...

На мгновение весь мир оцепенел, ожидая, когда до нее дойдет сказанное. А потом она рассмеялась. Легко и весело.

– Джо! И ты молчал! Стеснялся, дурачок?

– Это еще не все. И знаешь, я переживал, что не сказал тебе сразу, и мне становилось все хуже. А прошлой ночью я не хотел все испортить.

– Что же он сказал? Просто «я тебя люблю», и все?

– Да. Он сказал: я чувствую то же самое. Я люблю тебя...

Кларисса совсем по-девчоночьи прижала ладошку к губам. Я не ожидал такого восторга.

– Тайная гомосексуальная любовь с набожным педерастом!

– Ну хватит, хватит. – Но ее смешки приносили мне огромное облегчение. – Это еще не все.

– Вы решили пожениться.

– Послушай. Вчера он следил за мной.

– Вот это да! Он, наверное, влюбился по уши.

Я знал, что должен боготворить ее за это легкомыслие и за спокойствие, которое я обрел.

– Кларисса, это страшно. – Я рассказал ей о чем-то присутствии в библиотеке и о том, как выбегал на площадь.

Она перебила:

– Но ведь на самом деле ты не видел его в библиотеке?

– Я видел его ботинок, когда он выходил за дверь. Белая кроссовка с красным шнурком.

Это точно он.

– Но ведь лица ты не видел.

– Кларисса, это был он.

– Только не сердись, Джо. Ты ведь не видел его лица, и его не оказалось на площади.

– Нет. Он исчез.

Теперь она смотрела на меня по-другому и говорила осторожно, будто сапер, исследующий мину.

– Я вот что не поняла: тебе казалось, что за тобой следят, еще до того, как ты увидел его кроссовки?

– Было просто ощущение. Довольно неприятное. Я не чувствовал этого, пока там, в библиотеке, у меня не выдалось времени, чтобы все проанализировать.

– А потом ты его увидел?

– Да. Его кроссовку.

Взглянув на часы, она отпила из кружки. Она уже опаздывала на работу.

– Тебе пора, – сказал я, – мы можем поговорить и вечером.

Она кивнула, но не двинулась с места.

– Я не очень понимаю, что тебя так расстраивает. Какой-то бедняга помешался на тебе и бродит за тобой. Ну и что, Джо, это просто смешно! Забавная история, которую ты будешь пересказывать друзьям. В худшем случае – мелкое хулиганство. Не переживай так.

Мне стало как-то по-детски грустно, когда она поднялась со стула. Мне нравилось то, что она говорит. Я хотел слышать это снова и снова на разные лады. Она обошла стол и поцеловала меня в макушку.

– Ты слишком много работаешь. Относись ко всему проще. И не забывай, что я тебя люблю. Люблю.

И мы поцеловались, на сей раз страстно.

Вслед за ней спустившись в квартиру, я глядел, как она собирается. Может, из-за озабоченной улыбки, которую она бросила мне, суетливо укладывая вещи в портфель, а может, из-за извиняющегося тона, которым сообщила, что вернется в семь и будет звонить в течение дня, только я, стоя на гладком паркете, предназначенном для танцев, чувствовал себя пациентом психбольницы, с которым прощаются до следующего раза навестившие его родственники. «Не оставляй меня здесь с моими мыслями, – думал я. – Избавь меня от них». Она надела пальто, открыла входную дверь, собираясь что-то сказать, но промолчала. Вспомнила про какую-то нужную книгу. Пока она ходила, я топтался у двери. Я знал, что именно хочу рассказать, и, возможно, время для этого еще не упущено. Перри не «какой-то бедняга». Этот человек связан со мной, как и с теми рабочими с фермы, общим опытом, общей ответственностью или, по крайней мере, общей причастностью к смерти другого человека. Кроме того, Перри хотел, чтобы я с ним помолился. Может быть, он был обижен. Может, он какой-нибудь мстительный фанатик.

Кларисса вернулась с книжкой и принялась засовывать ее в портфель, держа в зубах еще какие-то бумаги. Она уже почти ушла. Когда я начал свой монолог, она поставила портфель на пол, чтобы освободить рот и руки.

– Извини, Джо. Извини. Я и так уже опоздала. Это ведь лекция. – Она помедлила, мучаясь сомнениями. – Ладно, давай рассказывай, только очень быстро.

Меня выручил зазвонивший телефон. Я-то думал, что у нее встреча с аспиранткой, а не лекция и, задерживая ее, я экономлю ее время.

– Иди, я возьму трубку, – бодро сказал я. – Вечером поговорим.

Она быстро поцеловала меня и исчезла. Подходя к телефону, я слышал ее шаги на лестнице.

– Джо? – раздался в трубке голос. – Это Джек.

На миг лишившись дара речи, я удивился этой своей реакции. Ведь он уже звонил вчера, его имя вертелось у меня на языке и в мыслях. Его образ настолько занимал меня, что я забыл о его реальном существовании и не считал за живого человека, способного воспользоваться телефоном.

Назвав свое имя, он замолчал, а потом заговорил – в полной тишине.

– Ты звонил мне.

Он тоже знал, как связаться с последним звонившим. Телефон перестал быть просто телефоном. Безжалостное хитроумное приспособление позволяло вторгаться в личную жизнь.

– Чего ты хочешь? – Произнося эти слова, я уже раскаивался. Меня не интересовало, что он хочет, я вообще не хотел с ним говорить. Скорее это был не вопрос, а демонстрация враждебности. Как и следующая фраза: – Кто дал тебе мой номер?

Перри, казалось, обрадовался.

– Это целая история, Джо. Я отправился...

– Мне неинтересны твои истории. Я не хочу, чтобы ты мне звонил. – Я чуть было не прибавил «и ходил за мной», но почему-то сдержался.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.